

"Ночные летотисы"

Геннадия

Доброва

Книга первая



Геннадий Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 1

«У Никитских ворот»

2016

УДК 7.071.1
ББК 85.143(2)

Добров Г. М.

«Ночные летописи» Геннадия Доброва. Книга 1 / Г. М. Добров —
«У Никитских ворот», 2016

ISBN 978-5-00095-215-3

«Ночные летописи» записывались на диктофон народным художником России Геннадием Михайловичем Добровым в начале 2006 года. Почти полная слепота его продолжалась более полутора лет, но после нескольких операций зрение частично восстановилось. Это было за пять лет до кончины. А тогда, в отчаянные зимние ночи 2006-го, теряя надежду снова видеть окружающий мир, художник обретает новый дар – он начинает задушевно и талантливо рассказывать о своей жизни. И эти воспоминания о далёком послевоенном детстве, об учёбе в Москве, о работе милиционером, санитаром, о поиске своих путей в искусстве – не могут не вызывать то горячего сочувствия, то грустной улыбки, но всегда – искреннюю симпатию к автору, к благородным порывам и мужественным поступкам этого незаурядного мастера с его удивительной судьбой. При работе над книгой вдова художника сочла необходимым сохранить последовательность аудиофайлов с обозначением дат их записи.

УДК 7.071.1
ББК 85.143(2)

ISBN 978-5-00095-215-3

© Добров Г. М., 2016
© У Никитских ворот, 2016

Содержание

Глава 1	7
Глава 2	12
Глава 3	25
Глава 4	34
Глава 5	44
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Геннадий Добров

«Ночные летописи»

Геннадия Доброва. Книга 1

На внешней стороне обложки использована литография Геннадия Доброва «Юный художник». Форзац и нахзац построены на photographиях мастерской художника, где происходили аудиозаписи «Ночных летописей».

Посмертный сайт художника: <http://gennady-dobrov.ru>

© Добров Г.М., наследники, 2016

© ИПО «У Никитских ворот». Оформление, 2016

* * *

«Ночные летописи» появились благодаря самым трагическим обстоятельствам в жизни художника. К началу 2006 года он практически ослеп. Это стало следствием и диабета, и гипертонии, и нескольких тяжёлых поездок в Афганистан... Он потерял возможность работать на холсте, рисовать на бумаге, писать ручкой, самостоятельно передвигаться по улице. Это было невыносимо мучительно для его деятельной натуры. К тому же наша мастерская на Таганке, где мы жили, не отапливалась уже несколько лет, и согреться приходилось печками и грелками.

И тогда пришла мысль о записи воспоминаний на диктофон. Был куплен цифровой диктофон, освоено управление... включение-выключение. Записи проходили в морозном январе-феврале по ночам, в полной тишине, темноте и одиночестве. Художник лежал, обложенный грелками, бутылками с горячей водой, укрытый одеялами и шубами. Он был наедине со своими дорогими воспоминаниями... Рассказывая, он переживал и плакал, иногда смеялся, иногда, вспоминая что-то, напевал... После каждого такого ночного сеанса давление у него зашкаливало.

Он сам назвал эту работу «Ночные летописи». Общая их продолжительность 163 часа – это повесть обо всей его жизни. Расшифровывая эти записи уже после ухода художника, я снова слышала родной голос, проникалась его мыслями и чувствами. Он по-прежнему был рядом...

Людмила Доброва



Глава 1

04 января 2006 г.

Предисловие художника. О незавершённых картинах, о глазном центре Фёдорова, о своей слепоте, диабете и давлении.

Начинаю долгожданную запись воспоминаний, о которой давно мечтал. Я сегодня подумал, что хорошо бы записывать наши разговоры за столом с Люсей, потому что когда мы разговариваем, такой диалог получается, как бы ответы на вопросы. Лучше получается, естественнее. Непроизвольные разговоры на самые разные темы, но в то же время они не построены специально, а возникают неожиданно.

Я лежу в постели, уже ночь. Мне 69-й год. Сейчас начало года, 4-е число, я даже забыл, что в это число месяца мы познакомились с Люсей в апреле 1973 года. С тех пор каждый месяц она вспоминает это число – день нашего знакомства – и старается делать мне какой-нибудь подарок. Сначала, когда мы были молодые, подарки были более существенны, а сегодня я вообще забыл об этом дне. А Люся только ночью уже, когда я лежал, принесла мне тарелочку тыквенной каши с ложечкой и говорит: давай будем тренироваться, как я буду тебя кормить, когда ты совершенно потеряешь силы. (Это будет, может быть, даже скоро.) Но пока что я ещё сам кушаю, сам хожу по комнате, хожу даже во двор к нашей собачке Марте, зову её, когда холодно, в комнату, чтобы она погрелась, и подхожу всякий раз с утра к своей картине.

У меня там сейчас четыре картины стоят незавершённые, это вот в длинной части мастерской, которая имеет высоту, наверно, метров пять, и освещена верхним светом. Но сейчас зима, света верхнего мало, поэтому я включаю две лампы, чтобы осветить начатую картину. Она продолговатой формы, на ней изображена сцена первого послевоенного года. У меня тут краски, кисти как бы готовы, чтобы я писал, но я стал плохо видеть, я совершенно не вижу, что я пишу на картине. И это несмотря на то, что две лампы освещают с двух сторон место, которое я хочу писать. Вернее, я уже там пишу, я уже давно её пишу, наверно, с осени, или даже с весны, забыл уже. Но я переделываю разные места, я хочу их лучше сделать, но ничего не вижу. Не могу различить там никакие детали, хотя совсем недавно я писал картину каждый день. Писал и переписывал. Я даже сидел посреди мастерской на стуле, метрах в двух, наверно, или в трёх от картины, и видел её всю, она такая длинная. И всё сравнивал там, где светлее, где темнее, где что переделать. Но, к сожалению, последнее время что-то зрение совсем у меня упало, и я не знаю, что делать. Восстановится оно или нет, я не знаю.

Сейчас мне очень трудно, картину я совсем не могу писать. Сначала я вообще ничего не делал, потому что я был так растерян, я не ожидал такого положения, что не буду видеть. У меня всегда было 100 %-ное зрение, с самого детства, я никогда не жаловался на зрение, видел очень далеко, даже на луне видел горы. И очень любил рисовать детали, травинки разные, пейзажи, в общем, я очень тонко рисовал. Я не только хорошо видел, но я даже лупой пользовался, чтобы под лупой нарисовать иголкой офорты, мельчайшие детали, потому что если лупу убрать, то там вообще ничего не видно. Но я всё это делал и потом травил кислотой. У меня всё получалось на удивление всем, люди удивлялись, как я тонко вижу мельчайшие детали. Так что теперь потеря зрения меня очень расстроила. Я совершенно прекратил рисовать и только ходил по больницам.

Я ходил в знаменитый институт глазной микрохирургии Фёдорова. Пришёл туда, стал рассказывать, что я теряю зрение, не вижу, что у меня расплываются предметы. Я и раньше был в этом институте после поездки в Афганистан в 2001 году. Тогда я приехал из Афганистана в Москву и вдруг почувствовал, что меня ослепляют белые предметы на улице. В ком-

нате я нормально видел, но когда выходил на улицу, то у меня в глазах буквально вспыхивали все светлые кофточки женские, рубашки мужские (это летом было), даже пачка сигарет, лежащая на асфальте, она прямо горела белым каким-то ослепительным сиянием.

Я тогда пошёл в этот институт Фёдорова, и там стали меня смотреть, расширять мои зрачки, то один врач, то второй, то третий. В общем, может быть, потом я подробнее об этом расскажу, но всё это ничем хорошим не кончилось. В результате мне только сожгли сетчатку на правом глазу и сказали... через полгода приходи, на левом глазу сделаем то же самое. – Я говорю: ну уж спасибо. Я художник, я берегу глаза для рисования, и мне небезразлично, что вы тут надо мной будете делать. Поэтому я больше не приду к вам.

Но, тем не менее, когда я стал уже слепнуть, то я пошёл туда снова. И опять меня посылали от одного врача к другому, к третьему, на исследования, на сдачу всех предварительных анализов, и в результате сказали мне, что ничего делать не будут, потому что лучие не станет. Ну, бесплатно, такое и отношение, может быть, никто из-за этого и не хотел браться. В общем, вернулся я обратно ни с чем, только лишний раз ослепили меня там, когда смотрели. Так что до сих пор у меня перед глазами эти яркие огни.

И вот я сейчас в таком состоянии. Пока я ходил, лечился, пытался что-то сделать, я всё надеялся, что я картину ещё смогу написать. Потом, уже ничего не видя, всё равно пытался, искал краски. Так примерно я знал, где какие краски лежат, где чёрная, где белая, где красная, где охра. Я выдавливал эти краски, но я не видел уже их на палитре. Тогда я поднимал эту палитру, подставлял к своим глазам и на уровне глаз направлял на лампу. И когда лампа освещала, от этих красок на палитру падали тени, и тогда только я видел, где какие краски находятся. И вот так, на ощупь, я, значит, кисточкой протирал эти места на картине, где я хотел писать. Но я уже не представляю, что я там нарисовал, потому что и краску я не видел. Но всё это я делал в надежде, что потом, когда буду видеть лучие, переделаю, потоньше всё сделаю. А пока я хотел переделать только композицию. Вообще я эту картину «Воспоминания о коммуналке» задумал лет пятнадцать назад. Я её писал сначала на большом холсте, 3 м длиной, 1,5 м шириной, но это вообще отдельная история. Мне так нравилось её писать, я с таким удовольствием работал над ней. Но потом приходили сомнения, переделывал, менял фигуры. В конце концов лет через пять я её подал на выставку в Манеж, она висела там. Но когда я её привёз домой, то снова стал переделывать. И в результате дело дошло до того, что там уже от первоначального замысла вообще ничего не осталось, уже другая получилась композиция. И вот эта неоконченная большая картина тоже стоит у меня на мольберте.

С другой стороны в мастерской ещё одна картина стоит, тоже с такой же судьбой. Но вообще все эти бесконечные изменения в картинах я отношу на счёт какой-то своей самоуверенности в том, что я успею всё нарисовать, что у меня время есть, я всё это сделаю, приведу в порядок. Но вот судьба распоряжается совершенно по-другому. Теперь я даже не знаю, смогу ли я это всё когда-нибудь сделать или это всё так останется, никому не нужное.



Воспоминания о коммуналке

В процессе работы конец виден только одному автору, и такие незаконченные картины, конечно, хранить никто не будет, они неинтересны никому. Так что вот в таком состоянии я каждое утро подхожу к картине, смотрю на неё и понимаю, что ничего у меня в глазах не меняется, картину по-прежнему не видно.

Глаза слепнут от диабета, который давно у меня обнаружили, но всё равно я его не лечил, таблетки манинил не пил и продолжал кушать сладкое. Я вообще с детства люблю сладкое. Сладкую воду мне и Люся делала. Я простую воду не пил, а всё только вот эти разбавленные сиропы разные, то из мёда, то из малины, то из смородины, то из всяких ягод. Потом сами ягоды, пересыпанные сахаром, ел, мороженое, пирожное, все сладкие вещи мне очень нравились. А в это время у меня развивался активный диабет.

Впервые я столкнулся с этой слепотой, когда поехал в Кострому рисовать в психиатрической больнице душевнобольных, такую серию я задумал, «Душевнобольные России». Мне давали в Министерстве здравоохранения просьбы к местным главным врачам, чтобы они меня приняли в свои апартаменты, дали комнату, кормили бы меня, а я бы там работал. И, в общем, все эти просьбы исполнялись, и я сделал 57 больших рисунков. Я рисовал в палатах, рисовал в самых тяжёлых изоляторах, где койки даже привинчивались к полу. Кроме единственной койки, там ничего не находилось, а вместо окна для проветривания там была вентиляционная труба. В разных больницах я рисовал.

Вначале мне казалось, что я слегка не вижу, как бы незаметно слепота подбиралась. Но вот когда я работал в костромской психиатрической больнице, то как-то раз я пошёл кушать в столовую из своего корпуса. Смотрю (а это был разгар лета) и думаю... что такое, что за снег, откуда взялся снег? А там трава такая некошенная, высокая стояла и дорожка шла. И вот я иду и вижу, что всё белое – белая дорожка, белая трава, белые даже мои ботинки. Я думаю, что это со мной? Вот тут я первый раз понял, что с глазами у меня творится что-то невероятное.

Кое-как я доработал, всё-таки три или четыре больших рисунка я там сделал. Потом насили добрался до Москвы. В Москве, когда я ехал с вокзала один, я ещё свой большой планшет вёз на тележке и рюкзак. И вот я из метро вышел, по Товарищескому переулку везу эту тележку, а передо мной всё белое, я ничего не вижу. А Товарищеский переулок узкий, тут машины едут с большой скоростью, а я планшет на этой двухколёсной тележке тоже везу

по дороге из последних сил. В общем, какая-то женщина подошла ко мне и спрашивает: куда вам его везти, давайте я помогу. (Я уже даже не сопротивлялся.) Она схватила эту тележку и повезла вперёд. А я позади шёл, спотыкался, на всё натыкался. Наконец пришли. У меня мастерская на Товарищеском переулке, дом 31, строение 6, это домик, три маленьких окошечка...

Я Люсе говорю: Люсь, я слепну, я не знаю, как я буду дальше работать. Посмотри в книжках, что я должен пить, какие лекарства, какая диета должна быть.

И вот она пошла купила мне манинил, чтобы я пил. И, кроме того, она прочитала о диете, многое нельзя есть при этом заболевании. И она начертила схему, что нужно кушать каждый день: с утра апельсин, потом кашу, в общем, овощная диета. Потом я поехал в аптеку (я тогда ещё всё-таки мог ходить, видеть) на Кутузовском проспекте и купил глюкометр для измерения сахара в крови. Норма 4, 5, 6. А когда мы померили этим прибором сахар у меня в крови, то оказалось 22, и ещё там было написано «кетоны» по-английски. Кетоны – это значит, уже идёт разложение в крови, в общем, что-то такое смертельно опасное.

И тогда мы решили, что я буду кушать только так, как рекомендовано в книгах по диабету. И, наверно, через неделю опять померили сахар в крови. Получилось уже 10, снизился сахар. Потом я исключил совершенно сахар и всё сладкое из употребления. И когда ещё через неделю мы померили сахар, то было почти в норме. То есть мы одной диетой сбавили вот это огромное напряжение в глазах и в крови.

После этого я ещё ездил в разные города рисовать, думал, что у меня всё нормально, что с диабетом я справился. Но совершенно неожиданно, когда я возвращался из Благовещенска, вдруг я почувствовал себя очень плохо прямо в поезде. Меня тошнило, и появилась слабость.

Приехал в Москву. Эта слабость уже у меня была постоянно и сопровождалась каким-то головокружением. И, в общем, я только-только добрался до дому, прилёг на кровать и чувствую, что у меня комната как-то начала крутиться по часовой стрелке. Я испугался, мне показалось, что я куда-то лечу и сейчас упаду. Стал держаться за кровать, вроде оставалось головокружение. А когда хотел подняться, то голова опять закружилась.

Сначала всё этим ограничилось. Но ночью, когда тихо и я лежал, то вдруг куда-то начал катиться потолок, и появлялся в ушах звон, а иногда и стук какой-то. Тогда я сказал Люсе: купи от головокружения таблетки. (Она мне купила циннаризин.) Я стал пить циннаризин.

Я ещё находился на учёте у эндокринолога в поликлинике, где наш дом на Ленинградском проспекте (а живём мы сейчас в мастерской на Таганке), мне эндокринолог там выписывал манинил. И когда я как-то возвращался оттуда, я вдруг сильно упал и ударился грудью о край глинистого бугра. Я почувствовал, что мозги у меня как-то стряхнулись, я даже испугался. Но всё-таки я встал, было ещё светло, я потихонечку пошёл на остановку и поехал обратно в мастерскую.

Приехал, рассказал Люсе. И вдруг чувствую, что опять у меня голова закружилась, и я снова стал хвататься за все предметы. А вскоре ещё началась рвота. И она меня выворачивала наизнанку, продолжалась до самого вечера и всю ночь. А утром я уже лежал обессиленный. Люся стала мне мерить давление – 250. Она испугалась, вызвала скорую помощь.

Скорая помощь приехала, ещё раз померили – 275. У меня началась сильная дрожь во всём теле и стучали зубы. Врачи говорят... это предсмертная дрожь. (То есть организм не выдерживает давления.) Они мне сразу же сделали укол. Не знаю, что они ввели в меня, но постепенно эта дрожь прекратилась. Они говорят срочно в больницу, срочно в больницу. (А у нас тут такие закутки, тесно, дверей много, узкие проходы.) Они меня положили на какую-то ткань, шесть человек взяли и потащили в машину.

Привезли в 6-ю Градскую больницу, где я когда-то работал санитаром. Положили в коридор. И первое время было то же самое, что дома, то есть я не мог оторвать голову от

подушки, такая она была тяжёлая. Потом постепенно, постепенно пошло улучшение... но я там, конечно, не долежал до конца. Чуть только стал себя лучше чувствовать, я попросил Люсю забрать меня домой.

А домой пришли – несколько не лучше, опять рвота. И вот с тех пор у меня как бы две болезни, это глаза (диабет) и давление. Сейчас у меня давление по утрам, когда просыпаюсь, 200, 210, 220, 230, 240, 230... в разный день по-разному, но всегда за 200. И от этого давления можно легко получить инсульт или инфаркт, в общем, его надо сбивать.

Люся даже составила список наших знакомых, у которых давление, и кто что пьёт. И оказалось, что все знакомые пьют разные таблетки. Но я пью клофелин, про который мне сказала одна врач в Магадане, где я рисовал.

Вот такая ситуация у меня на сегодняшний день и на сегодняшнюю ночь, такое моё состояние. И я не знаю, будет ли мне лучше, или хуже будет, ничего я не знаю.

Глава 2

05 января 2006 г.

Инсульт у Ариэля Шарона. Начало летописей. Раннее художество. Род матери. История семьи отца. Встреча родителей в училище. Психбольница. Появление на свет. Измена отца.

Вторая ночь наступила. Я, наверно, так и буду говорить ночами, потому что днём отвлекает много всевозможных событий. Утром давление было 200, в 5 часов давление 230. Потом выпил клофелин, это уже вторая таблетка, и запил кордиамином, лекарством от сердца. Только что передали сообщение, что Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля, получил обширный инсульт. Наверно, это и меня ждёт, потому что с таким давлением долго не проживёшь, рано или поздно это случится. Жизнь моя складывается сейчас очень однообразно, в то же время всё более и более безнадежно, потому что сегодня снова подходил к картине несколько раз и опять ничего не видел. Люся закапывает мне в глаза раствор мёда, но это не особенно-то помогает. Она мне купила этот диктофон для того, чтобы я хоть как-то заполнял время бессонных ночей рассказами о событиях своей жизни. Потом по этим фрагментам можно будет составить что-то типа «Воспоминаний художника», потому что мои рассказы – это, конечно, воспоминания художника.

Родился я в Омске в семье художников. Отец в это время был студентом училища имени Врубеля в Омске, мать училась там же. Они сняли комнатку, старую халупу, на заливаемом лугу реки Омки. И однажды, меняя мне, новорожденному, пелёнки, мать обнаружила карандаш. Поэтому впоследствии она рассказывала всем, что я родился с карандашом.

«Рисовать» я начал тоже очень рано, но в основном портил журналы, выводил круги, держа карандаш ещё, видимо, в кулачке. На листах журналов «Творчество» и «Искусство», которые выписывал до войны отец, изображался Дворец Советов в иллюминациях. Это были ещё проекты, которые везде печатались, и я на этих красивых фотографиях рисовал свои чёрные круги, как бы закрашивая их. Отец долго хранил эти мои первые художества, почти до самой своей смерти. Но тут, конечно, надо рассказать, кто были мои родители.



Юная мать

Отец моей матери (мой дедушка) был родом из Вятки. Тогда, во времена Горького, многие подражали писателю тем, что просто ходили по Руси. Горький сам скитался по Волге, по Украине, по Кавказу, а другие люди ходили по своим краям. Появилось много таких добровольных ходоков по всей Руси Великой. Люди ходили часто без денег, от села к селу, от двора к двору, где подрабатывали, где просто им подавали.

Но не всегда эти люди были самыми бедными.

Вот отец моей матери, видимо, происходил из какой-то состоятельной семьи, потому что из Вятки он пошёл на Восток через Уральские горы, через Сибирь (по-моему, он шёл по Сибирскому тракту). И дошёл до Благовещенска.

Благовещенск – это город, который расположен на самом берегу Амура, на другой стороне этой реки видна уже китайская территория. И что-то моего деда остановило в этом Благовещенске, дальше – на Владивосток – он уже не пошёл. Устроился в городе на работу бухгалтером. У него, видимо, была крепкая жизненная хватка, он умел зарабатывать деньги. И в Благовещенске, на одной из улиц, уже через какое-то время он приобрёл подряд шесть одноэтажных домиков. В одном жил сам, а остальные сдавал внаём. Вскоре ему понравилась девушка, дочка приходского священника Скрябина. Сам священник служил ещё в двенадцати деревенских церквях вокруг города, но те приходы работали лишь по праздникам.



Прибытие переселенцев

В юношеские годы (мои годы странствий) я много ездил по России. Я побывал в Благовещенске и даже разговаривал там с людьми, которые помнили моего прадеда, вот этого священника Скрябина. Говорили, что он был рыжий, невысокого роста, очень приятный человек. Тогда же мне рассказали, что в центре Благовещенска стоял его двухэтажный дом, низ каменный, верх деревянный, окружённый большим двором и сараями. Мой дед (который из Вятки, по фамилии Колотов) и дочка священника Скрябина познакомились и сыграли свадьбу. И в качестве приданого священник подарил им ещё шесть деревянных домов на той же улице.

Таким образом, все эти дома сдавались внаём. А сами молодые жили в большом светлом доме с обширным зелёным двором. Жили они состоятельно, имели прислугу.

У них стали появляться дети. Старшая тётя Маруся (мамина сестра), потом дядя Коля (мамин брат). И моя мать, которая родилась в 17 году. Когда пришла в Благовещенск советская власть, дед мой (Колотов), оценив ситуацию, сам пошёл в революционный комитет и отдал свои одиннадцать домов в пользу революции, но попросил оставить ему с семьёй один большой дом. Там они и жили. В родительском доме моей матери было много красивых вещей, которые могли принадлежать только состоятельным людям. До сих пор у меня висит на стене фарфоровая разделочная досточка, на которой изображена девушка, качающаяся на качелях среди цветов. Потом ещё мать хранила сумочку для ниток и для пуговиц, расшитую бисером, с большими бантами по краям (это ей досталось от матери, дочери священника). Видимо, дом их был полон таких безделушек.



Семья матери. Мать – девочка впереди

Дети выросли. Но в начале 30-х годов моя бабушка (дочка священника Скрыбина) заболела раком и умерла. И тогда муж её (мой дед из Вятки) женился вторично на своей молоденькой прислуге, которая была в возрасте моей матери. Тётя Маруся (старшая сестра моей матери) была возмущена таким поступком своего отца. Она его прокляла и уехала учительствовать в город Спасск-Дальний в Уссурийском крае. Дядя Коля поступил в военное училище на Кавказе, а моя мать сдала экзамены в художественное училище Благовещенска.

В стране в 30-е годы царил разор. Голод был и в центре России, и на Украине, и на Дальнем Востоке. Преподавателям в Благовещенском художественном училище перестали выдавать зарплату, и училище оказалось под угрозой закрытия. Тогда педагоги собрали учеников, объяснили им ситуацию и дали адреса художественных училищ в других городах (для перевода в случае договорённости). Моя мать, как и все, стала писать письма в училища разных городов и получила приглашение из Омска, из художественно-театрального училища имени Врубеля. Таким образом, мать тоже покинула Благовещенск и уехала в Омск. Стала там жить в общежитии.



Дед по отцу. 1914 год

Расскажу об отце. Отец мой был потомком крестьян из-под города Днепропетровска, выходцев с Украины. Ещё задолго до революции они большими семьями переселялись в Сибирь в поисках лучшей доли, потому что на Украине не хватало земли. Вот эти переселения беднейших крестьян с Украины в Сибирь хорошо описаны ещё у Лескова в его рассказах. А у художника Иванова есть трагичная картина «Смерть переселенца» (зной посреди степи, умер хозяин, остались дети, жена).

Но надо сказать, что эти семьи объединялись в общину и, прежде чем переселяться всем, посылали вперёд гонцов. Гонцы ездили, всё узнавали, потом возвращались. И тогда уже ехала вся община на телегах с лошадьми, в цыганских кибитках, на волах (с детьми и стариками).

И вот семья отца добралась до села Чистюнька на Алтае в Топчихинском районе. Село находилось на берегу небольшой реки Алей в уютном, красивом месте. На этом песчаном

берегу они и разместились. На другой стороне этой речки стояла роща, щебетали птицы. Место было ровное, дома строили в ряд, образуя улицу. А дальше шли бесконечные просторы ровной непаханой земли.

Мой дед Гладунов Фёдор Никитич был украинец, имел русскую жену и маленького сына (моего отца). Вскоре молодая жена умерла, видимо, надорвавшись на тяжёлой крестьянской работе. Но в крестьянстве долго не тужат. И дед взял себе новую жену из другого села, где жили такие же переселенцы, они родили ещё восьмерых детей. Так что семья была большая. Но отец мой, родившийся от первой жены, чувствовал себя сиротой, хотя его и не обижали. Зато его очень жалели родственники его родной матери Фатины, когда он прибегал к ним в соседнюю деревню Зимино. Очень рано, лет с семи, отец мой уже работал в поле. Однажды он упал с лошади, и лошадь наступила ему на голову своим передним копытом. Как-то отец сумел закрыться и избежать большой травмы, но на всю жизнь у него остался шрам на губе от удара лошадиной подковы.

Отец был очень способный и хорошо учился. В селе Чистюнька имелась школа, но учителей не хватало. И когда отец учился в седьмом классе, то его уже попросили преподавать в первом классе в этой же школе. В его семье симпатизировали новой власти, некоторые родственники являлись партизанами (край был партизанский), и так же воспитали отца. Он стал на всю жизнь убеждённым коммунистом. На войне он был политруком в армии, после войны долго являлся секретарём парторганизации в омском Союзе художников.

Я не знаю, как обнаружили у отца способности к рисованию. Возможно, кто-то посоветовал ему, или он сам что-то узнал. В то время было очень много призывов к молодым людям, чтобы они шли учиться, печатались адреса, куда ехать. И он узнал, что в Омске есть художественное училище. Отец приехал в Омск с фанерным чемоданчиком, который закручивался на проволоку, такой восторженный юноша, бедный, конечно, до крайности. Тут ему дали общежитие (так же, как и моей матери). И он начал учиться.



Отец-студент

Это было время больших колебаний в искусстве. Многие считали, что революция должна быть не только в политике, но и в искусстве, и в музыке, и в науке. В искусстве революция провозглашалась в отказе от величайших достижений прежних веков. То есть декларировалось, что «мы теперь новые люди, мы будем строить новый мир, новое искусство, и нам не нужно искусство передвижников, искусство таких предков, как Суриков, Репин, Серов, Левитан, Поленов, Врубель... ничего этого нам не нужно. Мы создадим новое искусство». И вот они рисовали или точками, или запятыми, кто-то вообще рвал и мял бумагу и на клочках рисовал. Некоторые молодые художники ходили в модных шляпах с длинными шарфами, которые спускались до полу, и считали себя проводниками нового направления в искусстве.

Но отец любил как раз старое искусство, искусство передвижников, искусство Тициана, Рафаэля, Веласкеса, Рембрандта. Училище обладало огромной библиотекой, в которой находилось большое количество альбомов с репродукциями. Были и цветные репродукции, и всевозможные архитектурные, пейзажные, портретные рисунки. В Омском музее тоже хранилось много подлинников. Как это всё там оказалось, я не знаю. Возможно, в Омске оседали музейные богатства, которые переправляли на хранение в Сибирь из богатых усадебных коллекций во время революционных бунтов. Я помню, что с детства уже видел в большом Омском музее и картины в огромных золотых рамах, и коллекции посуды, и дворянскую мебель. Отец тянулся к произведениям великих мастеров прошлого, учился на их технике, хотел походить на них.

Но действительность была другая. В училище требовали «новаторских» кубиков, линий прямых, кривых и учили писать красками кое-как... без колорита, без теней, какими-то огромными плоскостями, то красными, то оранжевыми, то чёрными, и за это ставили пятёрки. А он, в отличие от всех (он мне рассказывал), уходил в библиотеку, брал эти альбомы, смотрел их, перерисовывал и всей душой был с этими старыми художниками. В этом состоял конфликт с

товарищами, которые вели себя по-другому... и стихи читали авангардные, и всячески показывали, что они «новые творцы». Но жизнь есть жизнь, и она потом расставила всё по своим местам. Поиски нового искусства этих художников, которые не могли даже сами себе ответить, зачем всё это нужно, так и остались просто увлечениями юности.

Увлекались в училище не только искусством, там увлекались и друг другом. Мать привезла с собой гитару из Благовещенска и пела совершенно необыкновенные песни, которые я, например, никогда нигде больше не слышал. Это был репертуар дореволюционных каких-то романсов... про фею в реке, про замок царицы Тамары в горах. Мать обладала и приятной внешностью: с вьющимися волосами, и красивым голосом, и живым темпераментом, – и очень выделялась среди своих подруг.

А отец, наоборот, всё время работал, много и хорошо рисовал с натуры. Несмотря на то, что в училище была неразбериха с направлениями в искусстве, он оставался отличником, пятёрочником. Познакомились с матерью они в общежитии. Потом сошлись, но продолжали жить в общежитии. Надо сказать, что у отца, видимо, не было серьёзных намерений в отношении матери. Ну, молодость, кровь кипела, тут и любовь, и искусство, и подруги, и художественная среда... и вскоре мать забеременела.

Но у отца планы были другие. Он хотел поехать в Ленинград, чтобы продолжить образование в Академии художеств. Он считал, что училища недостаточно для серьёзного художника, что нужно обязательно окончить институт. И к этому всё шло. Пять процентов отличников от каждого училища посылались в эту Академию художеств, там их принимали чуть ли не без экзаменов, и они учились дальше. Когда мать почувствовала, что она беременная (это был я), она сказала об этом отцу, спросила: что делать дальше? – А он ответил: что хочешь, то и делай, я на тебе не женюсь, потому что я хочу поехать учиться в Ленинград. А куда я тебя с ребёнком дену? Мне, может, придётся и на крыше туда ехать, и в холод, и в голод, куда я тебя возьму? В общем, нет.

И когда мать это услышала, с ней случился нервный приступ. Она стала кричать, рвать на себе волосы, одежду, всё бросать, швырять. Девочки в комнате её уговаривали успокоиться, но всё было бесполезно. И тогда они вызвали профессора Волкова, чтобы он успокоил её. А тот, не долго думая, вызвал скорую помощь, её увезли в психиатрическую больницу на улице Куйбышева, и там её заперли.

Вся эта история стала известна руководству училища. Они вызвали отца и говорят: разве можно быть хорошим художником и непорядочным человеком? Ты должен жениться на Люсе, иначе ты бросаешь тень на всё наше училище и на наш моральный климат. Если так будет и дальше, то мы тебя никуда не порекомендуем, ни в какой Ленинград. В общем пристыдили.

И тогда он, пристыженный, пришёл к моей матери в психиатрическую больницу. Это он перед смертью уже мне рассказал. Я, говорит, когда её увидел, то не узнал – куда делись красивые кудри? Она была наголо острижена, босиком, в какой-то длинной казённой рубаше с дырами и с кровавыми пятнами. От укулов она уже стала тихая, убитая. И я, говорит, когда её увидел, то мне стало так бесконечно её жалко, что я решил никогда её не бросать.



Родители-молодожёны

И вот они вышли на лестницу, сели, прижались друг к другу, он взял её руки в свои, и так они долго-долго сидели. А мимо них по этой лестнице ходили больные с чашками, с ложками, на обед, потом обратно, какие-то вёдра там таскали по лестнице. Но они ничего этого не замечали. Они только сидели, прижавшись друг к другу, и им было хорошо. И в этом

заклучался их будущий союз, который они пронесли и через тяжёлые предвоенные года, и через испытания войной, и через послевоенные трудности. Всё решилось в эти минуты. Там же с ними был уже и я в животе у матери. Через месяц мать выпустили, отец забрал её. И они стали искать другое жильё, чтобы не жить в общежитии.

Вообще, Омск расположен на слиянии двух рек. Огромная сибирская река Иртыш течёт с Алтайских гор и впадает в Карское море. А Омка – это небольшая, но глубокая речка, она вытекает из сибирских болот. И вот на слиянии этих двух рек когда-то казачьими атаманами была заложена простая крепость, где укрывался гарнизон. Потом деревянную крепость заменили каменной, которая позже превратилась в тюрьму. Когда-то в неё был заточён Фёдор Михайлович Достоевский. Он описал это время в книге «Записки из мёртвого дома». Это величайшая книга, по гуманности я не знаю ничего выше.

В Омске я провёл детство, жил до отъезда в Москву. Но отец ни слова не говорил мне, что там был Достоевский, так как считалось, что произведения Достоевского несут пессимизм и религиозность, чего не нужно советским людям. Советским людям нужен был оптимизм, бодрое смотрение вперёд и преодоление всяческих преград. А у Достоевского как раз преграды преодолевались внутри самого человека, а не коллективом. Сейчас почти ничего не осталось от этой крепости, ни стен, ни казематов, только каменные ворота. Вот я ходил недавно, там стоит один какой-то дом с каменными камерами, но как это выглядело раньше, уже трудно представить. Кругом город с современными домами, с проспектами. Тем не менее великий человек в Омске жил, страдал и писал.

В пойме реки Омки, которая весной разливалась, селились только самые бедные люди. Пойму эту окружали высокие берега оврагов, на них уже располагались городские постройки и с той, и с другой стороны. Некоторые жили на краю оврагов или даже в оврагах, но там по разлогам весной текла вода. И вот на этих глинистых кочках и ямах люди как-то устраивались, возводили самодельные лачужки. Там, конечно, не было ни водоснабжения, ни канализации, а просто появлялся самострой такой, самозастрой.



1941 год

Вода в пойме реки стояла всё лето. Благодаря этому там росли высоченные травы с какими-то голубыми, фиолетовыми и жёлтыми цветами. Чтобы ходить через эти водные пространства, люди прокладывали доски и деревянные тротуары. Домики стояли островками, там были даже улицы. Накопив стипендию, отец купил на Кузбасской улице дом 34, это был сарайчик, сбитый из ящиков, в которых привозили фрукты в магазин. Сарайчик покосился набок, одна стена наклонилась, он её подпёр жердями, чтобы не упала, и всё время там что-то строил, подстраивал, укреплял.

Но они с матерью были рады, что приобрели хотя бы такое жильё. И там я родился 9 сентября 1937 года.

Вокруг сарайчика проходила обводная канава, в которой вода скапливалась и медленно текла в сторону Омки. Место это было небезопасное для ребёнка. По рассказам матери, однажды я, маленький, играл возле этой канавы, а они находились в доме. И вдруг мать, глядя в окошко, кричит: «Миша, Генка утонул!» Отец выскочил, а меня уже вода уносила, только одна рубашонка мелькала. И он меня догнал, вытащил из этой канавы и принёс домой.

Ещё мать рассказывала, что любил я, маленький, «помогать» отцу во дворе, когда он что-либо ремонтировал или подстраивал (крылечко, двери). Я брал гвозди и забивал их в землю молотком. А земля была сырая, мягкая, так что с одного удара гвоздь уходил в землю по самую шляпку. И мать говорила, что я очень радовался этому и с удовольствием это делал. Отец кинется... где гвозди? А они все уже в землю вбиты. В этом же домике отец приобрёл велосипед и впервые стал фотографировать. Сохранились пожелтевшие фотографии, где мать на крылечке в платочке держит меня на руках, я совсем ещё маленький, просто свёрток.

Отец постоянно покупал книги, журналы, открытки по искусству, у него накопилась целая коллекция. Он смотрел, любовался произведениями художников, которых в училище считали несовременными, и у него развился свой аналитический и практический ум в отношении искусства. Он не просто рисовал «по чувству», а он ещё обдумывал каждое прикосновение карандаша к бумаге, изучал технику рисования художников XV, XVI века, под каким наклоном они держали карандаш, как двигалась рука... Он накапливал свои знания, навыки и самостоятельно постигал тайны искусства. И этим он сильно отличался от других художников.



Омск. В парке

Отец матери, Иван Колотов (который когда-то пришёл пешком из Вятки), тоже уехал из Благовещенска с новой женой, и поселились они на Кавказе. Он был бухгалтером и (как рассказывали) задержался с сотрудниками после работы. Сидели, разговаривали. Кто-то что-то рассказал о Сталине, какой-то анекдот. Все засмеялись, и он, видимо, тоже. А за фанерной перегородкой находился комсомолец, который всё слышал и доложил. Ночью пришли и всех забрали. Деда отправили по этапу куда-то на север. Я уже родился, это был 37-й год.

С дороги дед прислал письмо, просил тёплую одежду (шёл по снегу чуть ли не босиком). И мать, и тётя Маруся послали ему всё, что могли, и валенки, и телогрейку, и шапку, и рукавицы, и продукты. Но пришёл ответ, что поздно, что он уже умер по дороге. А где умер и где похоронен, ничего неизвестно.

У деда осталась молодая жена в возрасте моей матери (я уже говорил). И вот она прислала матери письмо с Кавказа, что осталась одна без денег, без продуктов, что умирает с голоду, и просила о помощи. И мать, жалостливая душа, уговорила отца пожалеть её мачеху и пригласила её к себе в эту хибару. Та приехала.

Мать вообще часто болела, у неё была хроническая простуда и ревматизм, ныли кости и мышцы, она даже иногда ходить не могла, лежала. И эта молодая Зоя, которая приехала, стала в доме хозяйничать. Неизвестно, как и что случилось. Отец говорил, что она сама затащила его к себе в постель. Но, как бы то ни было, эта Зоя забеременела, пока мать болела и лежала за занавеской. Когда мать узнала всё это, у неё опять случился нервный приступ, она начала плакать, рвать на себе одежду, волосы, хотела забрать меня и уйти.

И тогда отец велел этой Зое срочно уехать, отправил её куда-то в Киргизию (видимо, к родным). Она там устроилась, потом родила девочку. Эта девочка ещё долгие годы приезжала к нам и напоминала каждый раз матери об измене отца.

Из-за моего рождения отец уже не поехал учиться в Академию художеств в Ленинграде. После меня вскоре в этой халупе мать родила ещё Наташу, а потом и двойню, мальчика и девочку. В 39-м году отца призвали в армию, он оказался сначала на финской войне, а потом на Ленинградском фронте.

Мать с четырьмя детьми осталась одна. Не имея никаких средств, она пошла работать на завод.

Глава 3

06 января 2006 г.

Интерес к слепым. Война. Три смерти. О. Уайльд, «Звёздный мальчик». Поезд на Дальний Восток. Спасск. Уссурийск. Болезнь матери.

Ночь третья. Я снова лежу. Давление утром было 250, в середине дня – 200. Выпил кордафлекс, думал, что давление снизится. Но сейчас уже вечер, десятый час, а давление опять 190. В общем, не снижается ничего. Сделал я один рисуночек в блокноте, так, скорее по ощущению, чем видел. Потом, часа через два, сделал ещё один рисуночек в этом же блокноте фломастером. Я рисую фломастером, потому что вот эти жирные линии я чуть-чуть вижу, хотя бы не совсем... Раньше я рисовал тонким карандашом, но когда я пытаюсь сейчас рисовать тонкой ручкой или карандашом, я вообще ничего не вижу. Так что мне из средств рисования остаётся только толстый фломастер.

Рисунки я делаю на тему своей болезни в разных ситуациях – когда я нахожусь где-то или прихожу смотреть картину, сижу среди картин. Я просто сижу и смотрю, работать не могу. Вот эти ощущения почти слепого человека мне всегда были как-то близки. И раньше меня всегда тянуло к слепым людям. Я помню, ещё в Омске, когда мы жили там после войны, рядом был клуб слепых. Я всё время туда ходил, смотрел на них, рисовал эти их слепые глаза без белков, старался чем-то помочь им, как-то их немножко приободрить. Но всё равно я не знал их жизнь изнутри.

А вот сейчас, когда я сам полуслепой (я не хочу сказать, что я совсем слепой, но полуслепой), я начинаю ощущать их жизнь, как вот они жили в быту. Как, например, таблетка лежит на ярко освещённом столе, а я ищу её руками и не могу найти, потому что ищу её совсем в другом месте.

Ну ладно, это предисловие. Продолжу то, на чём остановился вчера.

Эти дни и ночи начала войны в Омске были очень тяжёлыми для матери, у которой было уже четверо детей. Я даже не представляю, как она могла справляться с четырьмя маленькими детьми. Вот Наташу я помню, фотография от неё осталась, она была младше меня. А двойню, мальчика и девочку, я вообще не помню, только по рассказам. Мать уходила работать на 29-й танковый завод, делала там снаряды, работала на конвейере в тяжелейших условиях. Конечно, это и для мужчин работа тяжёлая, а для женщин тем более. Но все так работали в тылу, все были перенапряжены.



Мать с Наташей. 1941 год

А нас мать отдавала соседке. Тут рядом жила тётя Маруся, у них был хороший дом на каменном основании, просторные сени, в огромной комнате стояла большая русская печка. Она имела десять человек детей, была мать-героиня. Все дети умещались в этой одной комнате,

как уж они там жили, как спали, один Бог разберёт. Тётя Маруся ходила на базар. Сперва она шла по лугу по досточкам к оврагу, подымалась по шатким деревянным лесенкам на вершину за этим оврагом и там ещё шла два или три квартала до рынка. И на этом рынке она что-то покупала, продавала, перепродавала, в общем, крутилась, чтобы накормить эту свою ораву детей.

Да ещё мать нас четверых ей подбрасывала, пока сама работала.

Неудивительно, что у матери маленькие дети стали болеть. Умерли сначала двое эти, мальчик и девочка, слабенькие они были. Я уж не знаю, где мать гробик достала, наверно, кто-то ей помог. Недалеко от нас, рядом с нашим Казачьим рынком на окраине Омска, находилось Казачье кладбище. На кладбище стояла разрушенная церковь с заколоченными окнами, и возле стены этой церкви мать выкопала сама неглубокую могилку. Похоронила их, присыпала землёй.

Когда-то это кладбище считалось богатым, сохранилось много мраморных купеческих надгробий, украшенных и крестами, и цветами, но в войну уже всё это было побито, сдвинуто с мест, опрокинуто, а некоторые могилы даже вырыты. Валялись мраморные головы ангелов, каменные руки, крылья, и кругом всё поросло густой травой. Но через кладбище коротким путём ходили люди, потому что за кладбищем стояли ещё жилые кварталы.

Мать, после того как схоронила своих малюток, продолжала работать и по-прежнему отдавала нас с Наташей тёте Марусе. Я этот период не помню, знаю только по рассказам матери уже в послевоенное время. Моя сестричка Наташа выглядела очень здоровенькой, пухленькой, весёлой, с розовенькими щёчками, и очень нравилась соседям. Но мать уже ходила с ней по врачам, потому что у неё определили менингит, опухоль мозга, видимо, застудилась головка. В общем, и её дни были сочтены. Зимой она умерла.

Мать рассказывала, что гробик для Наташи она заказала где-то в центре. Но сани у нас не было, и мать несла этот гробик в руках через весь город, потом по лугу, по этим нашим широким улицам. Уже спустилась ночь, светила луна. И вот с этим гробиком она пришла домой. Наташа лежала на столе, мать её переложила в гробик. В нашей хибаре было тесно и холодно, одна стена сильно наклонилась и держалась на подпорках. Сил у матери не было, мы закутались, легли на кровать и прижались друг к другу. И, видимо, мать в этот момент остро ощутила глубочайшую трагедию своей жизни. Она поняла, что если и меня ещё потеряет, то уже никогда никому не будет нужна.

И этой ночью мать рассказала мне сказку Оскара Уайльда «Звёздный мальчик», которую ей когда-то прочла её мать. Я эту сказку тоже запомнил на всю жизнь, как завет любви и преданности своей матери. За окном стояла глухая морозная ночь, комната погрузилась в сплошную темноту. Мы лежали на кровати, укрывшись разной рваной одеждой, какими-то тряпками, дерюгами. И мать мне рассказывала про «Звёздного мальчика»...

Жила мать со своим маленьким сыном, который её очень любил. Когда мальчик стал подрастать, то все вокруг поражались его красоте и говорили матери – какой же у тебя красивый сын, какие у него глаза, волосы, какой он сам благородный, от него невозможно глаз оторвать. (Мальчик всё слышал.) Он стал любоваться собой, часто смотрел на своё отражение в воде. А мать у него была обыкновенная женщина. И постепенно он начал её стесняться и упрекать... ты безобразно выглядишь, ты просто всех пугаешь, уходи, я буду жить один. (Мать сначала не могла поверить его жестоким словам, но потом не выдержала и ушла.)

Прошло время. И жители этого городка, которые всегда любовались мальчиком, вдруг стали говорить – откуда взялся этот безобразный мальчик, какое у него страшное лицо, мы не хотим его видеть. Уходи отсюда. (И прогнали его из города.) Он убежал в лес, сел там и заплакал. Вдруг идёт какой-то старик и спрашивает его: отчего ты плачешь? – Мальчик отвечает: была у меня мать, но я возгордился своей красотой и выгнал её. А теперь сам стал безобразный, и меня прогнали жители города. Я хотел бы найти свою мать, попросить у неё прощенья,

но я не знаю, где её искать. – А старик говорит: это непростое дело, ты должен стать другим, очень добрым. Пока не станешь таким, ты вряд ли увидишь свою мать. Пойдём со мной, я тебя накормлю, будешь жить пока у меня. (Я лежал молча на груди у матери, она обнимала меня рукой, а я, затаив дыхание, слушал эту сказку.)

Через несколько дней старик говорит мальчику: ты живёшь у меня, кушаешь, но ты должен отработать эту еду. Я тебе дам сейчас бронзовую монету, сходи и купи для меня сладости в городе. Мальчик взял эту монету и пошёл. Идёт через лес и вдруг слышит: «Помогите! Помогите!» Он остановился, оглянулся и увидел, что какой-то человек упал и не может подняться. Мальчик подошёл, а тот человек просит: помоги мне. – Но я же маленький, у меня нет сил, ответил мальчик. – Тот говорит: отдай тогда мне свою бронзовую монетку. – Не могу, отвечает мальчик, я должен на неё купить сладости хозяину. – А человек продолжает просить: отдай мне монету, я заплачу кому-нибудь, и мне помогут, а то я совсем пропаду здесь. И мальчик отдал ему эту монету.

Вернулся домой. А старик спрашивает: где сладости? Я зачем тебя послал? Почему ты ослушался меня? (Разозлился, избил мальчика и уложил его спать голодным.) На следующий день старик даёт мальчику серебряную монетку и опять посылает в город за сладостями.

Мальчик взял серебряную монету, пошёл. И снова слышит: мальчик, мальчик, помоги мне. – Он подошёл: что случилось? – А какой-то мужчина просит помощи или серебряную монету: я дам её людям, и они мне помогут, отведут меня домой, а то на меня напали разбойники, избили. – Мальчик говорит: если я тебе дам эту монету, то хозяин меня изобьёт до полусмерти, ведь я ему опять ничего не куплю. – Но тот умоляет: мальчик, пожалей меня. (И мальчик опять отдал монету, а сам вернулся ни с чем.) Хозяин ещё с порога увидел, что он ничего не купил, и стал его избивать. Опять оставил его голодным и запер в каморке.

На третий день старик даёт мальчику золотую монету и говорит: иди и купи мне сладости, а если ты не принесёшь, я тебя вообще убью. Мальчик взял золотую монету и пошёл. И теперь повстречал старушку, которая совсем не могла двигаться. И она просит: мальчик, помоги, дай золотую монетку, она спасёт меня. – Но мне хозяин сказал, что убьёт меня, если я и на этот раз не исполню его желания, отвечает мальчик. – А старушка говорит: я умру, если ты мне не поможешь. Тогда мальчик подумал: пусть хозяин убьёт меня, но я спасу эту старушку. И отдал ей золотую монету.

Мальчик пошёл обратно и видит, что леса нет, что взошло солнце. Ворота города открыты, к нему подходят радостные люди, узнают его и спрашивают: где ты пропадал так долго? Ты стал ещё красивее. (Берут его за руку и подводят к красивой женщине). И говорят: это твоя мать, благодаря твоей доброте она снова приобрела свою красоту и молодость, которую у неё отнял злой колдун. И мальчик с матерью обнялись и решили больше никогда не расставаться.

Мать закончила рассказывать мне сказку и спрашивает: ты никогда не бросишь меня? – Я отвечаю: нет, мам, никогда. – Она мне говорит: и я тебя не брошу. Жизнь тяжёлая, трагичная, полна неожиданностей, горя и страданий. Могут и отца убить на фронте, может, и с нами что-нибудь случится, но мы никогда с тобой не расстанемся. – Я так к ней прижался и говорю: нет, мам, никогда.

На другой день мы прощались с Наташей. Привезли её на то же кладбище, где уже лежали мальчик и девочка. В центре кладбища росли три сосны. И вот в этом треугольнике мать вырыла могилку и похоронила Наташу. Но ни надгробия, ни креста она поставить не могла, только запомнила эти три сосны.

Она написала отцу на фронт письмо, что умерло трое детей, остался один Генка. Отец прислал ответ: если Генка умрёт, я к тебе не вернусь.

И тогда мать обратилась к своей старшей сестре тёте Марусе, которая жила в Спасске на Дальнем Востоке и работала там учительницей вместе со своим мужем. Она преподавала

литературу и заведовала методическим кабинетом, а он был учителем географии. Жили они в крепком рубленом доме, имели большой двор, огород, сад, собаку, в общем, полное хозяйство. Мать ей описала своё безвыходное положение, и тётя Маруся пригласила нас временно пожить у неё.



Отец-фронтовик

Мать купила билеты до Спасска. Дома у нас уже ничего не было, потому что днём, пока мать работала на заводе, а я находился у соседки, в нашу хибару приходили воры и

всё выгребли. Украл велосипед отца, посуду, одежду, забрали даже альбомы по искусству и наборы открыток, которые собирал отец. Но зато сохранился рюкзак со студенческими рисунками отца, которыми он очень дорожил и просил обязательно сберечь. Кроме этого рюкзака мать хотела взять в дорогу банку топлёного масла, которую она купила накануне отъезда и спрятала на столе под горой всякой ветоши. Но когда мы уже собрались на вокзал, она подняла эту ветошь и увидела, что под ней ничего нет. То есть украл и последнюю банку масла.

У матери была длинная доха, которую она одела прямо на нижнюю рубашу, потому что все её платья тоже украл, доху она чем-то подпоясала. Мы пошли на вокзал, сели на поезд и поехали на Дальний Восток в Спасск.



В поезде времён войны

Дорогу эту я помню плохо, потому что я был ещё маленький. Но знаю, что ехали мы в полупустом плацкартном вагоне. Все составы шли на Запад с техникой, с войсками, а на Дальний Восток ехало мало народу.

Те, кто эвакуировался, оседали в Сибири, вот в Омске было много беженцев. Но в нашем вагоне следовали матросы на свою службу на Тихоокеанский флот. Ребята ехали молодые, все в матросках, в бескозырках, в форме, в мундирах.

Тут знакомства, разговоры, и, в общем, они быстро поняли, что мы совершенно нищие. И они стали нас подкармливать из своего пайка. А мать мне говорила: Гена, ты, может быть, споешь что-нибудь ребятам, ведь они нас кормят, чай дают. (И она меня ставила на столик между полками внизу.) Я был ещё маленький, но помню, что стоял на этом столике и пел:

По военной дороге
Шёл борбеец в тревоге,
Боевой восемнадцатый год.

Были сборы недолги
От Кубани до Волги,
Мы коней собирали в поход.

Матросы смеются: а почему ты поёшь «шёл борбеец»? Нужно петь «шёл в борьбе и тревоге». А я, значит, как слышал, так и пел. Потом другие песни пел:

Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке последний патрон.
В рваных шинелях, дырявых лаптях
Били мы немцев на разных путях.
Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, что я влюблён.
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблён.

Матросы были в восторге, что я пою им песни. И так вот мы доехали. Ничего другого я не запомнил.

Приехали мы в Спасск, пришли в дом к тётё Марусе, он находился не очень далеко от вокзала. Тётя Маруся говорит – ну, раздевайтесь, располагайтесь. Мать развязала свой пояс и распахнула шубу. Тётя Маруся только ахнула... как вы, говорит, дошли до такой бедности? Дала матери одежду, обувь.

И я помню, что мы сели кушать. Тётя Маруся стала подавать горячие вкусные щи, вместо тарелок она наливала щи в глубокие пиалы, расписанные цветами. И ложки всем дала серебряные, видимо, она их привезла ещё из родительского дома из Благовещенска. В общем, я был необыкновенно счастлив, что мы попали в такую среду, что тут так тепло, так вкусно, так нам рады. У тёти Маруси было двое детей – Алик, постарше меня, и Рита, его сестра. Ещё с тётей Марусей жил муж и его мать, которой и принадлежал этот дом.

Вскоре тут наступал Новый год. И тётя Маруся поставила огромную ёлку в углу комнаты рядом с высоким трюмо. Ёлку нарядили разными игрушками, чего там только не было. Тут же у них стояло старинное пианино из орехового дерева с канделябрами и витыми бронзовыми ручками по бокам. В комнате было много книг, журналов и разных безделушек. В общем, от всего веяло благополучием и радостной семейной жизнью.

Праздник прошёл, всё закончилось. И вдруг эта бабушка, свекровь тёти Маруси, кричит: игрушка пропала, это он взял. И показывает на меня. А я сам этого и не заметил. Я любовался, любовался ёлкой, а потом, видимо, снял с веточки маленький синенький картонный домик с окошечками и с занавесками, который висел на верёвочке. А эта бабушка заметила пропажу. И сразу ко мне. Обыскали, нашли домик. И тут у свекрови терпение кончилось, и она заявляет: уезжайте, если он уже вор такой, то уезжайте. – Мать говорит: ладно, ладно, простите его, мы завтра уедем. (А я даже сам не понимал, как этот домик оказался у меня.) Почему я его взял? Зачем он мне? Может быть, потому что у нас никогда не было такого хорошего, красивого домика, поэтому я и снял его.

И мы переехали в город Ворошилов (сейчас он называется Уссурийск). Там мать устроилась работать художником-декоратором в драматический театр. Это город уже был большой по сравнению со Спасском. Нам дали сначала комнату с печкой в бараке недалеко от театра. Мать работала, а я маленький там оставался во дворе. Двор был длинный и огорожен высоким забором. И, в общем, я всё мать ждал, ждал, и когда она долго не приходила, я начинал плакать. Мне казалось, что она не придёт уже никогда, а я тут буду один, такой маленький, и куда мне деваться, в общем, у меня текли слёзы, потом я уже начинал кричать, наступала

истерика, болела голова, и все меня жалели: что ты плачешь? Ну придёт твоя мама, не плачь. (А я всё плакал, всё ждал её.) Наконец мать приходила, успокаивала меня. И мы заходили в свою комнатку.

Мать была молодая, совсем ещё молодая. Я часто думаю, хочу понять природу её поступков, когда она жила одна. Таких женщин, как она, у которых мужья воевали на фронте, там находилось много, и они посещали городской сквер. Посредине там стояли полуразбитые скульптурки у полусырого фонтана, но не в этом дело. Главное, что там работали огромные качели с широкими перекладинами, где всегда качались люди, и находилось колесо обозрения. И ещё была танцплощадка.

И вот эти одинокие девушки туда ходили. Я думаю, что поступками матери двигала обида на отца за измену, когда она болела в Омске. Она же отца очень сильно любила. И эта несправедливость, как он поступил с ней, когда я был грудной ещё (да и ребёнок, родившийся от его измены), всё это подорвало её беззаветную любовь к нему. И она решила, что она тоже имеет право быть свободной и независимой. И вот она ходила там на танцы и даже приводила к себе домой кавалеров (это втайне от меня, когда я уже спал). Но я всё равно слышал сквозь сон, что она приходила не одна. Располагались они на полу, чтобы не шуметь и меня не будить.

Помню ещё, что у нас была печка. Однажды ночью я вдруг проснулся от ужасной духоты. И вижу, что выюшка закрыта (зима была), а в печке ещё тлели угольки. То есть дым шёл в комнату, вот этот угарный газ. И я, задыхаясь уже, побежал к двери. Атам крюк такой тяжёлый, я его насилиу выбил, открыл дверь и упал на порог лицом прямо в снег. И так я лежал – половина тела была в комнате, а половина на снегу. Но благодаря этому дым стал выходить на улицу, и мать не задохнулась. Она потом встала, подняла меня. Мы проветрили комнату, выюшку открыли. Помню этот случай.



Уссурийск

Мать постепенно добилась в театре устойчивого положения как художник-декоратор. Там ещё работал художник, который делал эскизы, а мать их исполняла, писала декорации в театре на полу по ночам. Потом их вывешивали на сцене.

Через какое-то время нам дали маленькую комнату в квартире уже в каменном доме на первом этаже. В квартире жили соседи, не то актрисы, не то просто какие-то городские дамы. В комнате находилось одно большое окно и высокая дверь, в общем, какая-то неуютная комната. Но тут мать заболела, и её положили в больницу. А я уже ходил в первый класс. Но поскольку мать положили в больницу, я считал, что её надо там навещать, а навещать можно было только днём. В общем, я бросил этот первый класс, не стал дальше учиться, стал только навещать мать. Она мне оставила сколько-то денег, и я ходил на базар.

Базар там был большой, на его территории даже стояла деревянная церковь. Но поскольку недалеко уже находился Китай, то на рынке много китайцев продавали свой товар. Я помню, что они торговали конфетами. Конфеты их представляли такие длинные трубочки, обвитые красивыми цветными бумажками – голубыми, жёлтыми, золотистыми, красными. Эти конфеты назывались тянучки. Иногда они продавались в банках с водой без обёрток. Берёшь эту тянучку, хочешь её откусить, а она не откусывается. И тогда начинаешь её жевать. Жуёшь, жуёшь, набивается полный рот этой тянучки, проглотить её уже невозможно. Тогда её начинаешь вытаскивать изо рта, она прилипает к зубам, тянется чуть ли не на метр и не рвётся. В то же время эти конфеты были сладкие, во рту они постепенно таяли и уменьшались, когда их сосёшь. Вообще китайские товары были очень разнообразные.

Я покупал молоко в бидончике, покупал вот эти тянучки и шёл к матери в больницу. Больница находилась далеко, я был ещё маленький. А по городу ездили лошади, запряжённые в сани, их называли розвальни. Впереди сидел на дощечке кучер, он постёгивал лошадку. А сзади сани-розвальни, в них лежало много сена. Обычно там или бидоны стояли, или коробки, или какие-нибудь ящики.

Глава 4

06 января 2006 г.

О своих психозах. «Золушка». Интернат. Пионерлагерь. Победа. Измена матери. Возвращение отца. Биробиджан. Поезд в Омск.

Эти сани так устроены, что сзади у них выступают полозья. Я втайне от возницы подбегал к этим саням, залазил в них на сено, ноги ставил на полозья и ехал по улице. Иногда возница оборачивался, видел, что я сижу там, маленький, но ничего не говорил. И мы так ехали. Потом подъезжали, я видел уже больницу, где мать лежала, соскакивал с саней и бежал в больницу, где она меня ждала. Она меня ласково встречала... Геночка, Геночка, сыночек. (Я всё в подробностях не помню, только так, отрывками.)

Вечером я ходил за хлебом в магазин, стоял в очереди. Хлеб продавался по карточкам. Когда моя очередь подходила, я подавал карточку, и продавщица отмеряла мне хлеб, сахар, муку или крупу, что было в карточке написано, то она мне и давала. Так вот я жил, пока мать болела.

Когда я один жил там среди этих женщин, соседок, дверь моя не закрывалась. И однажды или в плитке перегорела спираль (плитка на окне стояла), или ещё что-то, в общем, надо было мне достать спираль. А я знал, что спираль лежит в чемодане, а чемодан под кроватью. И вот я вытащил чемодан, ищу эту спираль, спирали нет. И я вдруг заплакал, зарыдал, со мной истерика сделалась. Я стал кричать: это вы украли у меня спираль. – А эти женщины испугались: да нет, нет, ничего мы у тебя не крали, успокойся, успокойся. – А я всё плачу: куда же она тогда делась? Вот она тут была, а теперь её нету, и плитка у меня не горит. (Вот такой приступ психоза у меня был, я помню.)

Я думаю, что у меня и дальше в жизни были такие приступы. Может, это следствие переживаний матери, когда она находилась в психиатрической больнице, беременная мной. Теперь известно, что на ребёнка действует всё, когда он находится в утробе матери. Недаром же в богатых семьях включают красивую музыку, чтобы ребёнок её слышал, читают книжки с хорошим содержанием, стараются таким образом подействовать на ребёнка, чтобы он стал впечатлительным.

А я, когда ещё не родился, возможно, уже слышал и крики в психиатрической больнице, и скандалы, и истерики, и плач, и угрозы. Потому что я замечал иногда за собой вдруг приступы истерики по самому ничтожному поводу, я тогда мог и накричать, и наговорить что-нибудь обидное. Но потом вдруг всё это проходило, и я понимал, что зря всё это говорил, что я сам во всём виноват. Теперь, под старость лет, я думаю, что это на меня наследственность психопатическая повлияла. В детстве я, конечно, ничего этого не понимал, только плакал, кричал, какие-то истерики на меня находили, голова раскалывалась, жар начинался. Я рыдал из-за пустяка и не знал, что делать, с трудом как-то успокаивался. Тогда ещё я не просил ни у кого прощения. Но когда я стал постарше, то я уже просил прощения за такое своё глупое поведение.



Уссурийск. Дом, где жили в годы войны

Мать поправилась и продолжала работать в театре. Одноэтажный наш каменный дом находился рядом с театром, их разделяло расстояние, куда могла проехать грузовая машина. Наша маленькая комнатка-каморочка с одним окошком выходила сразу на кухню. Но зато всё было рядом с театром. И когда мать ночами делала декорации в театре, то она брала меня с собой. И вот, помню, в театре никого нет, везде пусто. На сцене разложена бумага, картон, разная тюль, кисея. И тут же стоит большое кресло с подлокотниками. Я сижу в этом кресле и смотрю, как мать, склонившись, рисует берёзы, рисует горы, реки, в общем, то, что нужно по ходу спектакля.

В этом театре я запомнил один спектакль, «Золушка», который меня глубоко тронул. Я его видел, наверно, из-за кулис, уже не помню как. Но я запомнил песенку, которую пела эта Золушка. Она пела на мотив «Сурка» Бетховена:

Когда-то девушка жила в своём родимом доме,
На чердаке она спала под крышей на соломе,
На чердаке она спала под крышей на соломе.
Стирала, гладила бельё, в квашне месила тесто,
А за обеденным столом ей не хватало места,
А за обеденным столом ей не хватало места.
Посуду чистила золой, вставала спозаранку,
И звали Золушкой её, послушную служанку.
И звали Золушкой её, послушную служанку.

Сам спектакль, события его я не помню, но вот песенку эту я запомнил на всю жизнь. Вообще жизнь театра была и богатая, и разнообразная.

Театр выезжал на гастроли. На время этих гастролей по Приморскому краю мать отдавала меня на несколько дней в дом-интернат. Мы, помню, шли с ней по виадуку на другую сторону железнодорожных путей. В этом интернате в больших комнатах находилось много детей.

Спали дети на мягких складных деревянных кроватках, брезентовых раскладушках, но все были укрыты простынями, одеяльцами, подушки, всё там было.



1942 год

Иногда в этом интернате проходили праздники. Шла война, и эти праздники были на тему войны. Я помню, как меня нарядили в матроску и одели мне фуражку с морской кокардой в виде якоря. Меня с подзорной трубой поставили на стулья, которые были накрыты белыми простынями. Внизу на полу тоже располагались дети с игрушечными винтовками и автоматами. Это был как бы нос корабля, я стоял на рубке, смотрел в подзорную трубу, потом подымал руку и кричал: «Огонь! Огонь! Огонь!» И эти ребята внизу начинали трещать своими автоматами (крутили ручки сбоку автомата). И треск начинался такой, что будто бы действительно они стреляли. Вот эту сцену я помню.

Жили мы там несколько лет, и мать иногда отдавала меня летом в пионерский лагерь, он находился в тайге. Нас водили по тайге на экскурсию, и один раз мы подошли к старому кладбищу. А там стоял огромный православный крест коричневого цвета, снизу он уже немножко подгнивал, но стоял ещё прочно, такой мощный, высокий, я таких крестов больше не видел никогда.

Однажды мы расположились на песчаном берегу небольшой, но глубокой речки. Другой берег выглядел крутым, почти отвесным, и оттуда ребята ныряли прямо в воду (наверно, это были вожатые). Кругом тут стоял лес, место казалось каким-то далёким, глухим, но в то же время всё тут пронизывало солнце и свет.

И вот когда другие ребята играли на берегу, я пошёл по этому песочку в воду. А дно шло в глубину по наклонной, и уже вскоре я захотел вернуться обратно, но не мог, не мог возвратиться. Меня как бы тянуло в глубину. И чем сильнее я хотел вернуться, тем глубже я

туда заходил. И наступил такой момент, что я вообще оказался под водой. И тут я уже начал булькать, ничего не понимая, и в то же время продолжал идти ещё глубже.

И в это время меня сверху заметили ребята с другого берега. Они прыгнули в воду и поплыли ко мне, в общем, вытащили меня. Я уже еле-еле дышал. Если бы они меня не заметили, так бы я и утонул в этой совершенно прозрачной тихой речке, которая, казалось, не представляла никакой видимой опасности.

Потом я помню момент, когда меня навещала мать в этом пионерском лагере. Один раз она приехала и привезла мне крыжовник и мёд. И вот этим мёдом она залила целую тарелку крыжовника и мне дала. Было так вкусно и так радостно, что мать рядом со мной. Мать моя вообще очень добрая. Добрая и удивительно честная. Эту вот открытость и порядочность она пронесла через всю жизнь. Какие бы события с ней ни случались, она никогда не поступала так, чтобы каким-нибудь подлым образом изменить ситуацию в свою пользу, она предпочитала терпеть, в ней это, видимо, было заложено с детства.

И вот наступило время Победы. Мать радуется... Гена, Гена! Победа! Победа! Война кончилась! Скоро папа приедет. (Или он ей написал, что приедет, или передал как-то.) В общем, мы ходили по городу, вглядывались, как бы встречали отца. Тут военные уже стали приезжать, идут с девушками, с жёнами навстречу нам. И мы всё ходим и всматриваемся, где же папа?

Однажды я ходил к реке один уже. И смотрю... тут у речки лесочек такой прозрачный, там повозки стоят и никого народа нет. Я подошёл и вижу, что кругом валяются сумки санитарные с крестами (белые круги, красные кресты), лекарства, всё разбросано. Это, видимо, был какой-то санитарный обоз, но, поскольку война кончилась, решили, что он уже не нужен, всё побросали, а лошадей увели. И на больших телегах, и на земле остались разные сумки, шинели и каски. Это был признак того, что война кончилась.

Война кончилась, а отца всё не было и не было. Он был на западном фронте, а мы-то жили на Дальнем Востоке, за несколько тысяч километров. И в наш этот двор возле театра приехали танкисты. Они поставили свои танки во дворе, а спать решили у нас на кухне, как бы по договорённости с соседкой. У соседки подросла дочь на выданье, как говорится, да и сама соседка ещё молодо выглядела. И радости не было предела у этих солдат, что женщины тут у них находятся под боком. Конечно, солдаты и в комнату к ним ходили, и ночевали там у них, и дневали, а эти две женщины расцветали от внимания мужчин. Но к матери моей никто не подходил, потому что она уже вела себя строго в ожидании отца.

Стояло необычайно жаркое лето, и весь театр поехал в поле на огороды. У нас тоже был свой огород, там росла кукуруза. Мать меня взяла с собой, и мы туда поехали вместе со всеми. Там по жаре собирали эту кукурузу в початках, набивали ими свои рюкзаки. Но жара всё усиливалась, спасения нигде не было, и тогда все артисты и сотрудники театра стали собираться домой. Мы тоже собрались и пошли со всеми.

И вот идём, все уже изморились. Мать даже кофту сняла от такой жары, кожа у неё сгорела, покраснела. И машина грузовая нас догоняет, поравнялась. Остановили эту машину, все стали прыгать в открытый кузов, и мать меня тоже туда посадила, в этот кузов. Потом сама хотела залезть, но сил у неё уже не было. И тут машина тронулась. И тогда мать кричит – посмотрите, чтобы Гена никуда не убежал, я приду скоро.

И её не было до самого вечера, она всё шла пешком по этой ужасной жары. И, конечно, вся сгорела. Я всё сидел, её ждал, потом уже вечер наступил. И наконец мать пришла, но до неё нельзя было дотронуться, вся кожа сгорела. Она мучается: что же делать, ничего не могу одеть, боль нестерпимая. А соседка наша ей говорит: я тебе дам сейчас простоквашу, ты намажься ей.

Мать взяла эту простоквашу, стала мазать, а до спины рука не дотягивается. И тогда один из танкистов, которые тут же на кухне вповалку спали на своих плащ-палатках, говорит: давайте я вам помогу. Взял простоквашу и стал так потихонечку намазывать матери спину. Ну, в общем, я уж не знаю, как там у них вышло.

А тут вскоре пришло письмо от отца. Он писал, что его перебрасывают в Маньчжурию, что их полк уже движется на восток. А этот танкист Иван говорит матери: Людмила, я тебя не брошу, ты не волнуйся. Мы поедем в Киев, Генку возьмём, там отдадим его в художественную школу, и ты там будешь работать. Ты не расстраивайся, он же тебе первый изменил. (Это ему мать, видимо, рассказала про отца.) И мать в такой тревоге и сомнениях ожидала приезда отца.



Отец – фото с фронта

И отец наконец приехал. В это время мать уже работала в универмаге на втором этаже, они там раскрашивали с помощью трафарета женские платки, набивали краской разные цветы на платках – лилии, розы, очень красиво. Я находился дома. И вдруг отец пришёл и стучит в окно. Я смотрю... за окном стоит военный. Я, конечно, сразу решил, что это отец, и кричу: папа, папа! – Он говорит: открой мне дверь. – Я отвечаю: мама на работе, она закрыла меня. – Ну, лезь тогда в форточку.

Я встал ногами на стол, полез в эту форточку, и он меня вытащил прямо руками с той стороны. Я к нему прижался, спрашиваю: папа, это ты? Это ты? – А он отвечает: да, это я, но зови меня на «вы». (У меня даже как-то похолодало внутри.) Я стал разглядывать его медали, считать их. Он говорит: пять медалей у меня. И он меня так на руках и понёс, мы пошли к матери в универмаг на второй этаж.

Подробностей я уже, конечно, не помню, но, в общем, мать отцу призналась, что она ждала его все эти годы, но в последний момент случилась эта неожиданность. Она предложила разойтись, сказала, что этот танкист Иван забирает нас в Киев. Но отец решил по-другому. Он заявил: нет, Генку я тебе не отдам. Я его буду учить рисованию, я не брошу его.



Рисунки отцу на фронт

А мать отцу на фронт часто посылала мои художества. Я тогда уже делал рисунки то про Кощея Бессмертного, то про Руслана и Людмилу, изображал, как Руслан на коне остановился на краю пропасти, и плащ у него развевается. А на другой стороне этой пропасти, на неприступной скале стоит замок Кощея Бессмертного. И там разные мечети громоздятся, церкви, ограда, ворота решётчатые, и на цепях подъёмный мост, который опускается и поднимается. И вот Руслан с копьём стоит напротив неприступного замка. На другом рисунке Руслан готовится к бою с Головой, в общем, детские такие сказки.

Ещё я рисовал, как идут бои – летят самолёты, строчат пулемётчики, спускаются парашютисты, внизу тут танки друг с другом сталкиваются, огонь, дым, сверху тоже бросают бомбы. А однажды на отдельный листочек я положил свою руку, растопырил пальцы, обвёл всё карандашом, и получился контур моей руки. В общем, разные рисунки я делал, а мать посылала их отцу на фронт. А дома у нас уже вся стена была увешана моими рисунками, мать их прикрепляла кнопками к стене. Рисунки были небольшие, тетрадного размера.

В общем, отец матери сказал: Генку я тебе не отдам, ещё неизвестно, как сложатся и твои отношения с этим человеком, а я тебя люблю, ты моя жена. У нас дети были и ещё будут. Вот война кончится в Маньчжурии, я демобилизуюсь, вернёмся обратно в Омск. А пока собирайся, поедем ко мне в полк, в Биробиджан, и там будем жить... от этого Ивана подальше.

И мы поехали в Биробиджан. Помню, тёмной ночью куда-то мы идём, идём, звёзды уже на небе, а мы всё в темноте идём. Потом пришли в этот полк. Первым делом нас посадили за стол и дали нам кашу гречневую, сверху большой горки из каши положили огромный кусок масла. В общем, солдат там кормили неплохо.

Рядом с полком проходила дорога, эта трасса Москва – Владивосток проходит и сейчас. А на другой стороне этой трассы тянулись болота, кочки такие. Среди этих кочек стояло несколько двухэтажных домиков барачного типа, нас поселили в одном из этих домиков. Семьи свои привезли и командир полка, и замполит, в общем, всё начальство. Они все были полковники, майоры. Отец имел звание старшины, но по своему положению художника в полку он больше общался с начальством, чем с простыми солдатами. Кроме того, всю войну он был политруком.

Нам выделили хорошую светлую комнату на втором этаже, и мы там стали жить. Я свободно ходил в полк к отцу (не знаю, как меня пропускали, наверно, я был маленький ещё и не представлял никакой угрозы). Меня пропускали через ворота, я проходил внутрь и видел там огромный плац. На плацу длинными шеренгами стояли солдаты, а перед ними выступал командир, что-то им говорил. Ко мне на территории полка подходил отец, брал за руку и говорил – пойдём в клуб.

Деревянный клуб находился отдельно. Заходим в этот клуб, а там от пола до самого потолка стоит большой портрет Сталина. Он изображён во весь рост в фуражке, в кителе, в синих брюках с лампасами. А выше Сталина, уже над рамой, был вырезан из фанеры и разрисован орден Победы. Он представлял собой золотую пятиконечную звезду, украшенную бриллиантами, внутри которой изображались Красная площадь, Спасская башня и Мавзолей. От этого ордена Победы с двух сторон картины вниз спускались тоже из раскрашенной фанеры полотнища знамён со штыками, с орудиями, которые окаймляли портрет Сталина. Всё это сделал отец. То есть он Сталина любил. Да и как иначе? Имя Сталина, как символ исторической Победы над фашизмом, гремело на каждом углу, и в песнях, и по радио, и в газетах, и в книгах... везде. Мне запомнился этот огромный портрет, отец, видимо, его уже заканчивал.



Биробиджан

В Биробиджане я снова пошёл учиться в первый класс. Но школа находилась как бы в сторонке, надо было идти по этим кочкам. А между кочками стояла вода, и, в общем, мы прыгали. Дети этих начальников и я – все ходили в первый класс, прыгали по этим кочкам и туда, и обратно. А если двигаться по этим кочкам дальше, то там уже начинались настоящие болота.

В этом первом классе мне понравилась одна девочка, Роза. Мы с ней подружились, и я говорю: Роза, мы скоро поедem в Омск. – Она отвечает: а мы поедem в Иркутск, я тогда дам тебе свой адрес, ты мне пиши, и мы всегда будем дружить. (И дала мне свой адрес.) Но я его положил в карман, а когда мы поехали, я в эту бумажку почему-то завернул пирожок, она промаслилась, и я легкомысленно её выбросил. Видно, не судьба нам была дружить с этой Розой, хорошая девочка такая.

В Биробиджане мать меня посылала за молоком на рынок. Когда я шёл туда, я проходил мимо госпиталя. Он находился в трёхэтажном здании, и я видел много раненых солдат, они во дворе грелись на солнце с костылями, с разными увечьями. Я, конечно, не мог туда зайти, но это была как бы атмосфера, которой дышало то время – этими ранами, повязками, добрыми приветливыми лицами воинов, которые надеялись, что они скоро выпишутся из госпиталя и поедут к своим родным.

Дальше я переходил мост и попадал на рынок (вообще это маленький городок был). На этом рынке пленные японцы в пилотках, в кителях с оловянными пуговицами рыли какие-то ямы. Я подходил к ним близко, смотрел на них, а они смотрели на меня. И это тоже было удивительным послевоенным ощущением. На лицах этих пленных японцев уже не отражалась злоба, и они, наверно, тоже хотели поскорее домой. И это всё тоже создавало атмосферу Победы. В общем, этот великий дух послевоенного времени сформировал меня как художника.

И наконец мы поехали в Омск. Поезд наш назывался «семьсот весёлый». Это были вагоны для скота, двери в них открывались в обе стороны, ограждала только поперечная доска.

Спали на каких-то двухэтажных нарах, тут же печка-голландка находилась. В общем, вагоны держали открытыми, стояло лето, жара. Поезд шёл медленно, часто останавливался, солдаты выбегали и рвали цветы.

Мы ехали втроём – мать, отец и я. В вагоне пели много песен, и под гармошку пели, и без гармошки. Пели украинские песни (...ой ты, Галя, Галя молодая... ехали казаки, увидели Галю... спидманили Галю, увезли с собой). Всё это пелось хором, раздольно так, а поезд шёл потихонечку. Люди знали, что они возвращаются домой наконец и рано или поздно приедут. И они ехали, пели песни и, облокотившись на эту поперечную доску в дверях, смотрели на природу. Некоторые садились, спускали вниз туда ноги к колёсам, курили, но водку никто не пил.



Домой, на Родину!

Люди собрались из разных мест, кто с севера был, кто с юга, кто с Украины, кто с Кавказа, и пели те песни, которые они слышали в своих деревнях. Пели дружно хором «Хаз-Булат удалой», голоса звучали удивительно мощно. А поезд всё шёл, шёл и останавливался, и снова шёл. А солдаты постепенно сходили на своих полустанках.

И вот наконец мы приехали в Омск, опять туда, откуда когда-то уехали. Я отца спрашивал позже, уже когда вырос и жил в Москве: а почему вы не поехали дальше, в Москву? Всё равно же начинать пришлось с нуля. – А он отвечал: Гена, кроме нуля в Омске остались у меня ещё и друзья по училищу, зачем мне ехать туда, где меня никто не знает. (Потом, через много лет, он как бы уже хотел жить в Москве, но так всё и не получилось.)

Глава 5

07 января 2006 г.

Вспышка диабета, слабость. Возвращение в Омск после войны. О городе, о доме, о Рексе. Рождение сестры Жени. Песни матери, её работа. Карьера отца. Рыбалка и рисование с отцом. Подготовка к МСХШ. Рождение Лены. О русских народных песнях. Очереди. Игры. Первая любовь.

Ночь четвёртая. Давление сегодня с утра было почти 200, потом выпил кордафлекс, а около пяти уже было 210 давление, то есть совершенно не помог кордафлекс. Тогда снова выпил клофелин. Но тут уже вечер, больше не мерил давление, я думаю, что оно стало понижаться. В глазах стоял туман, а когда померили сахар, то оказалось 10 с лишним единиц. Такого не было давно, уже несколько лет не было такого внезапного повышения сахара в крови. Люся испугалась, сказала, что больше мёд не будем есть. Не знаю, что ещё ограничивать, в общем-то рацион и так ограничен. Печенье она мне ещё давала диабетическое, а теперь думает, что, наверно, обычное печенье продают вместо диабетического. А я удивляюсь весь день, отчего это у меня в глазах белый туман такой и слабость. Но теперь ясно, что кроме давления произошёл ещё этот большой скачок сахара в крови.

Тем не менее сделал один рисуночек сегодня у себя в блокноте.

Приятель мой, художник Борис Овчухов, лежит в реанимации в 5-й больнице. Его пришёл навестить другой художник, сосед по мастерской на Масловке. И когда я позвонил жене Бориса узнать, как он там, она говорит – в реанимации он, пива просит. (То есть Борис лежит в реанимации, можно сказать, под капельницей, обвешанный всякими трубками и приборами для измерения давления и пульса, и когда пришёл приятель, то он у него пива просит.) Это, конечно, ситуация, от которой можно только гомерически смеяться.

Мне было сегодня так плохо, что я не хотел ничего рассказывать. Думал, может, пропустить одну ночь, потому что слабость мучила весь день, я целый день лежал, пытался уснуть. Люся мне положила грелки и в ноги, и за спину, и хотела в руки дать бутылки с горячей водой. Но я говорю – не надо, я и так усну. (Она даже уходила в магазин для того, чтобы создать тишину для меня, чтобы не мешал мне никакой маленький шорох.) Но всё равно я не мог уснуть. Так целый день провалялся и сделал только рисуночек, как Борис в реанимации пива просит у своего товарища, который у него на глазах действительно пьёт пиво (но тот же здоровый).

Тем не менее я продолжаю вчерашние воспоминания. Закончились они тем, что мы были в Омск с Дальнего Востока.

Вся наша семья опять соединилась – отец, художник, с военной выправкой и с мировоззрением политрука армии, мать, художница, беременная от танкиста Ивана с Украины, и я, который ничего этого не знал, они от меня это скрывали. Я был просто рад, что вернулся отец и что мы возвращаемся туда, где наша семья рассталась в 39-м году. Самое удивительное, что мы перебрали несколько мест в Омске (где-то у знакомых останавливались на короткое время, потом в других местах недолго жили), но наконец оказались почти на том же месте, где жили до войны. Тогда мы жили на лугу в пойме реки Омки, где весной всё заливается. А на горе, на левом её берегу, идут глубокие овраги из чистейшей доисторической глины. И если следовать от старого нашего жилища, то нужно пройти эту пойму реки, застроенную домиками и сарайчиками, подняться по шаткой крутой деревянной лестнице и выйти наверх.

Тут стоит бывшая церковь без купола и без верха (крыша просто покатая), превращённая в клуб слепых. А дальше если пойти по этой прямой дорожке от оврага, то слева начинается

территория 65-й школы, в которой я потом учился. А по правую сторону этой улицы Куйбышева (то есть 1-й линии) будет находиться большая городская психиатрическая больница, где в 37-м году лежала моя мать и где её навещал отец. Улица Куйбышева так называется, потому что прославленный государственный деятель Куйбышев был родом из Омска. В Омске есть лётное училище им. Куйбышева, его имя тут в большом почёте.

Дальше эта улица Куйбышева (1-я линия) идёт по прямой мимо рынка и мимо Казачьего кладбища, где были похоронены во время войны мои сёстры и брат. Если ещё дальше идти, то по правую сторону начинается дорога к историческому центру города, где сливается Омка с Иртышем. Там проходит улица Ленина, там парк и памятник революционерам (на котором один революционер поднимает знамя и поддерживает безжизненное тело своего товарища). Дальше по этой улице Ленина налево будет вокзал и железнодорожная ветка Транссибирской магистрали. Железная дорога идёт и в сторону Приморского края далеко, и в противоположную сторону, к Москве, тоже очень далеко.

А мы возвращаемся к началу этой улицы Куйбышева и пойдём на соседнюю параллельную улицу, которая называется 2-я линия. За ней так же параллельно пойдут 3-я линия и 4-я линия. Там тоже находится большое старинное здание психиатрической больницы, рядом с больницей стоит водокачка. А дальше следуют 5-я линия, 6-я... и так до 24-й. Не знаю, есть ли там что дальше, потому что это уже окраина города, поле, и никаких жилых домов нет. Правда, там стоял ещё сажевый завод, который коптил сажей.



Дом в Омске на 2-й линии

Вот в таком окружении на 2-й линии стоял наш дом. Он был большой, одноэтажный, приземистый, это примерно 3-й дом от угла, от Омской улицы. Дом делился на две половины и имел два входа. Одна половина считалась домом 6, а если пройдёшь немножко вдоль фасада (где ставни скребут по земле каждый раз, когда их открывают и закрывают), то там будет вторая половина дома, уже под номером 6-а, с отдельным входом в глубине двора. Дворы и участки разных хозяев одного дома (а их было четыре семьи) разделялись ветхим деревянным забором со случайными ржавыми кусками железа. Такими же кривыми-косыми были и деревянные уборные во дворе, обитые кое-как железом.

Когда мы туда приехали, во дворе там стоял ещё большой сарай, в котором находились свинья и телёнок. Отец сначала снял одну комнату 16 метров у Левихи, семья которой владела четвертью дома, и входные двери у нас с ними находились рядом. Два наших окна упирались в забор соседнего дома и располагались вровень с землёй, на ночь мы их закрывали ставнями. Под окнами ещё находились две дыры в подпол для проветривания. Сама Левиха была с Украины, женщина очень крупная. Муж её работал в Омском пароходстве механиком и плавал на грузовом колёсном пароходе с трубой до Салехарда и обратно.

До войны, когда мы жили на лугу, у нас была крупная пушистая собака Рекс. Когда мы уехали на Дальний Восток, мы её, конечно, бросили. И больше пяти лет она жила в Омске без нас. И вдруг, когда мы вернулись, Рекс увидел где-то на улице отца и мать, узнал своих довоенных хозяев, подбежал и стал вилять хвостом. Это была такая радость! Его привели, отец повесил проволоку наискосок от забора к дому, посадил его на эту цепь, будочку ему сделал в углу, и он какое-то время там жил, нас охранял. Я его помню. До чего это было приятное существо... огромное, мягкое, доброе, чёрно-коричневого цвета, с большими мохнатыми лапами. Рекс... как я его любил...

Вскоре мать родила девочку Женю, которая была дочерью танкиста с Дальнего Востока. Меня никто не посвящал в подробности, как эта девочка появилась на свет, родная она отцу или неродная. Я думал, что родная. Вообще меня оберегали от этих внутренних тайн, которые есть в каждой семье. Мы с отцом ходили на 4-ю линию, где находился роддом, и смотрели в окно на мать, которая уже держала на руках маленькую Женю. Она родилась в августе, но в Сибири август – это уже скорее осенний месяц, уже начинались заморозки по ночам. А когда наступили холода, то Левиха, хозяйка, стала приводить к нам на крошечную кухню своего телёнка, чтобы он не замёрз в сарае. Она его отгораживала в закутке доской от печки до стены.

Я хорошо помню эту обстановку, эти клубы холодного воздуха, когда телёнок вталкивали с мороза. Он сразу начинал мочиться, и моча растекалась по полу (потом уже муж Левихи провернул коловоротом в полу дырки, чтобы туда впитывалась моча телёнка). И тут же возле открытой горячей печки мать ставила корыто на табуретку и купала новорожденную Женю. Мать охала, ахала, но ничего, конечно, возразить хозяйке дома не могла. Я тогда эту сцену ещё не мог нарисовать, я просто смотрел и запоминал, потому что всё это выглядело очень выразительно.

До нас в комнате печки не было, печку сложил отец, когда мы туда вселились. Это удивительно, как много отец знал и умел, ведь он раньше жил в деревне, где сложить печь, наверно, умел каждый. Кухню от жилой части комнаты отделяла стена с дверным проёмом, на котором висели шторы, расписанные матерью, эти шторы почти никогда не закрывались. В комнате между двумя окошками стоял стол и стулья. Над столом на стене висело зеркало, а сверху спускался абажур. В углу отец сделал деревянный топчанчик для Жени, и над ним мать повесила нарисованный детский коврик. Он изображал большую дырявую соломенную шляпу, в которой играли котята, и там же рядом сидела кошка. Это была репродукция из «Нивы», дореволюционного журнала. Мать очень любила красоту и уют, в отличие от отца, который имел спартанское мировоззрение.

Отец всегда упрекал мать за то, что она не читала газет и не участвовала в общественной жизни, но хозяйкой и матерью она была хорошей. За Женей она постоянно ухаживала, так что Женя скоро превратилась в куколку в вязаном платьице и в вязаной пелеринке с кистями. На головку ей одевали вязаную шляпку с бантом, а на ножки – красивые вязаные носочки.

Рядом с печкой вдоль стены стояла кровать под красивым расписным пологом. Полог открывался и закрывался, его тоже сделала мать. В общем, у матери, видимо, были воспоминания о своём детстве в Благовещенске. Эти воспоминания жили и в репертуаре её песен. Гитару она с собой возила всю войну. В каких бы передрягах мы ни оказывались, в час грусти она садилась и играла, я был её единственным слушателем. Я устраивался у её ног, смотрел, как

она перебирала струны и пела свои незнакомые мне песни. Они не исполнялись ни по радио, нигде, она привезла целый репертуар таких песен из Благовещенска.

А отец по утрам собирался на работу. Утро начиналось с того, что он искал свой партбилет, который он прятал над Жениным топчанчиком. Там на стене висела полка, которая закрывалась шторкой, и на ней лежали книги и журналы. Туда отец прятал каждый раз свой партбилет. И самое любопытное, что утром он не находил его на месте, этот свой партбилет. И тогда он приходил в неопишное волнение, потому что уже опаздывал на работу. Он судорожно начинал искать свой партбилет во всех книгах, перебирать их, перелистывать, перекладывать с места на место, и всё причитал: «Где же мой партбилет? Где мой партбилет?» (А хранить его в пиджаке он считал ненадёжным.) И наконец он его находил, успокаивался и надевал свою украинскую косоворотку, вышитую цветами и узорами вокруг ворота, потом натягивал пиджак, брюки, шляпу, прощался с нами и уходил на работу.



Омск 50-х годов

Он шёл по 2-й линии, сворачивал на Куйбышева и садился на трамвай (или же ходил пешком наискосок, там было не очень далеко). И попадал в помещение, которое стояло у трамвайного кольца. Может быть, раньше когда-то там находились трамвайные диспетчерские, или магазин «Цветы», или же это была перестроенная часовня. Теперь там работали художники. Среди художников это место называлось Круглое. Оно располагалось на откосе, с которого открывался вид на слияние рек Омки и Иртыша. И дальше за Иртышом начинались дали.

От этой площади (рядом с трамвайным кольцом) дороги расходилась как бы под углом. Одна дорога шла к тому месту, где мы жили, она называлась улица Лермонтова, и по ней ходили трамваи. На этой улице (не то под номером 16, не то 26, забыл уже) стояло довольно приземистое здание, которое тоже принадлежало художникам. На правой стороне от трамвайного кольца располагались остатки городской крепости, вернее, там сохранились только руины бывших казематов (где сидел Достоевский). На самой же площади возвышался памятник Ленину, он стоял с протянутой рукой и смотрел на запад, в сторону Москвы.

Тут надо сказать о том, что когда отец приехал в Омск после войны, в конце 1947 года, Союза художников в Омске не было, он распался. Некоторые художники уехали во

время войны, другие что-то рисовали, как-то зарабатывали. Училище имени Врубеля перестало существовать. Бывшие педагоги этого училища Волков Василий Романович (это который мать упрятал в сумасшедший дом), Козлов, Белов Кондрат Петрович, Либеров Алексей Николаевич – все жили как-то сами по себе.

Но отец вообще привык к военному порядку и строгости, он же на фронте являлся политруком. Это помимо того что он был отличным связистом, командиром отделения. Он налаживал связь по мере того, как продвигались наши войска. И ему даже доверяли вести самый верхний провод от столба к столбу, который крепился на вершине столба. Это тянулась связь с верховным главнокомандующим, то есть со Сталиным. Но об этом я узнал уже позднее и от других, потому что о войне отец не любил рассказывать, мне он никогда не говорил о войне. Единственное, что выдавало его чувства, это слёзы. Когда у нас появился телевизор и там стали показывать фильмы военного времени, то отец или не смотрел их, или если смотрел, то слёзы у него ручьём текли из глаз. Он не мог ни остановить, ни сдержать своих слёз и чувств. Он и всхлипывал, и плакал иногда просто навзрыд, когда смотрел эти фильмы военного времени.

И когда отец приехал в Омск, то он первым делом собрал всех художников, оставшихся в городе, и устроил собрание, на котором сам же стал председателем. Это получилось стихийно, ему художники доверили этот пост. И отец поставил задачу – организовать Союз художников в Омске. Но для этого нужно было разрешение Москвы. Он поехал в Москву, договорился там, и его благословили на это дело. Когда он вернулся обратно, то на собрании уже официально объявил о создании Союза художников. И его, конечно, избрали председателем этого союза. А поскольку время было послевоенное, строгое, то он же стал и секретарём парторганизации в этом союзе. А когда уже он являлся и председателем Союза художников в Омске, и секретарём парторганизации, то руководство города выдвинуло его кандидатом в депутаты районного совета.



Отец

Я помню эти выборы в автошколе, мы ходили туда. Портрет отца висел в рамочке, и его представляли как кандидата в депутаты района, которого надо избирать. И его избрали. В общем, он стал в городе очень известным человеком. Ему всё это очень нравилось, потому что отвечало его натуре. Я уже говорил, что в армии он был политруком. У него сохранились фотографии, где он стоит в военной форме, обвешанный ремнями, с одной стороны у него висит кожаная сумка, с другой стороны кобура с пистолетом, в общем, бравый вид. А взгляд на фотографии у него очень строгий и независимый, не располагающий ни к какому панибратству и дружбе. И в Омске после войны он остался таким же.

Для того чтобы организовать Союз художников (как ему в Москве указали), должно быть девять членов. И он из старых преподавателей бывшего училища имени Врубеля набрал костяк этого союза. Потом тут ещё после фронта вернулись в Омск несколько художников. В общем, девять членов он набрал вместе с собой. И тогда им на улице Лермонтова городские власти выделили дом, где они могли собираться, дом для этих девяти членов союза, творческих работников. У отца в этом доме была мастерская, рядом были мастерские Щёктова, Либерова, Козлова, Белова, в общем, они там заняли каждый себе по комнате.

А остальных художников, которые, по мнению отца, были «менее творческими» (как моя мать, например), поселили вот в этом помещении, которое называлось Круглое. Возможно, до революции там находилась часовня, потому что весь этот вогнутый дугой красивый откос раньше был застроен храмами. Они стояли почти вплотную друг к другу и образовывали как бы броню города, которую было видно издали при подъезде к Омску.

Вообще Омск расположен на ровной местности. К югу от Омской области уже начинался Казахстан, и там тоже раскинулись ровные степи, которые далеко-далеко уходили на юг. А к северу от Омска шла лесистая местность. На правом высоком берегу Иртыша, который тянулся всё время на одинаковой высоте, располагались сосновые боры, переходящие севернее в тайгу. Когда плывёшь на пароходе, то можно видеть сосны с обнажёнными корнями на краю обрывов и целые обоймы сосен, уже упавших вниз с обрыва. И по Иртышу пароходы двигались на север в почти необитаемые места.

Омск располагался на стыке вот этих северных районов и казахских степей. В самом Омске природа бедная, но она богатая дальше к северу. Город тогда был пыльный, старый. Вдоль Омки по овражистым берегам тянулся самозастрой. Там стояли домики, сделанные бог знает из чего – кто из глины лепил, кто из кизяка, кто деревянные строил... в общем, каждый сооружал что мог, и даже свет проводили в эти домишки. Конечно, никаких удобств там ни у кого не было. Но зато протекала речка, жители летом купались в Омке, а женщины носили стирать туда своё бельё в тазах. На берегу, на свежем воздухе, раздавались шуточные крики, взвизгивания, смех... текла нормальная жизнь – дети в школу ходили, бельё сушилось на верёвках.

Порой ветры подымали столбом и пыль, и мусор, потому что никто ничего не убирал на улицах в первые годы после войны. Но постепенно на собраниях в райкоме и в обкоме партии ставились задачи привести город из полувоенного заброшенного провинциального состояния в образцовый сибирский культурный центр. Вот Союз художников отец организовал, другие люди создавали филармонию, третьи восстанавливали медицинский институт.

В Омске был очень хороший медицинский институт, ещё дореволюционный, с большими научными достижениями. У них хранится совершенно открыто труп человека, удивительно похожего на Ленина. Он находится не в гробу, а в стеклянном ящике с крышкой, которая предохраняет труп от мух. Я читал о нём недавно в «Московском комсомольце». Этот труп хранится в кабинете патологической анатомии ещё с 30-х годов. И все только удивляются изобретению растворов, которые так влияют на ткани, что они не разлагаются, это остаётся секретом до сих пор. В отличие от бальзамирования трупа Ленина, где работала целая группа учёных, известно, что труп его двойника в Омске препарировал простой лаборант. Кроме обычного раствора он использовал заморозку трупа на улице.



Отец на пленэре

Вот такие достопримечательности Омска, это только то малое, что я знаю и помню. Но вообще туда во время войны эвакуировали военные заводы, там находился и авиационный завод, и танковый завод, и ещё какие-то, про которые мне по моему возрасту не полагалось вообще знать. Отец в этом отношении был очень строгий.

По воскресеньям, когда у отца выдавались свободные дни, мы с ним ездили рыбачить на Омку или на Иртыш (он любил рыбачить). С этой стороны Иртыша всё было застроено, а другой, пологий берег Иртыша стоял совершенно пустой, там, кроме бакенщиков, никого не было. И вот мы туда переплывали на лодке (там немножко заплатишь, и тебя перевезут), закидывали свои удочки, а сами в ожидании, когда дёрнется поплавок, начинали рисовать.



Мост за городом

Отец раскладывал походный деревянный мольберт и рисовал какой-нибудь пейзаж с водой, с растительностью (деревьев там не было, просто кустики росли). Я пытался тоже рисовать, но мне нравился город. Вот начинаю рисовать, но вскоре подходит отец и говорит: Гена, это не рисуй. – Я спрашиваю: почему? – Потому что там здание обкома партии. Я так поворачиваюсь по дуге и начинаю рисовать другое место.

Он своё рисует, но через некоторое время опять подходит и интересуется:

Гена, зачем ты рисуешь это? – Я отвечаю: а что? – Это же железнодорожный мост, стратегический объект, его нельзя рисовать. Я тогда поворачиваюсь ещё больше и рисую совсем другие силуэты зданий вдали. И снова отец подходит: Гена, ты опять не то рисуешь, это же элеватор, это вообще секретный объект.



Сибирские просторы

Я поворачиваюсь в обратную сторону, в левую, начинаю рисовать с другой стороны. Он опять через какое-то время подходит: Гена, это же нефтеперегонный завод, стройка всесоюзная, не надо её рисовать. Я подальше тогда перехожу, рисую далёкие какие-то строения. Отец опять на меня набрасывается: нельзя это рисовать, там же лагеря, заключённые, ничего этого не рисуй. В общем, ничего, получается, нельзя. Я спрашиваю: папа, а что же мне рисовать? – Вот видишь удочку? Поплавок видишь? Смотри, какой он красненький на воде, как он туда уходит, в воду, вот это и рисуй, и никто тебе ничего не скажет. (И сам он тоже рисовал какой-нибудь кустик травы, песочек тут, тень на песке, водичка). Вот так проходили наши работы на пленэре... ничего нельзя.

Иногда я сопровождал отца на работу, мне это нравилось. Он шагал, я держался за его палец, и так вот мы шли рядом. Конечно, мы проходили через базар (или мимо базара) и заворачивали на улицу 10-летия Октября, которая тоже вела в центр и была параллельна Лермонтовской. И тут на углу сидели нищие и инвалиды, бывшие солдаты (у кого культя вместо руки, у кого нет ноги), и просили милостыню. У меня не было своих денег, и я говорил отцу: пап, давайте им подадим. – А он отвечал: это бездельники, они могли бы работать, ты разве не читал повесть о настоящем человеке, когда лётчик без обеих ног снова встал в строй, водил самолёт и бомбил фашистов? А эти что? Они опустили, не хотят работать, они позорят наш строй. Не только я им ничего не дам, но и ты не подходи к ним близко и даже не смотри в их сторону. (В общем, резко меня осаждал.)

Но у меня не было неприятия к этим людям. Я сам не воевал, и мне их было жалко. Но сделать я ничего не мог, тем более ещё не мог нарисовать их, об этом даже и речи не было. Я просто смотрел на них и сочувствовал им.

Вот так проходили первые наши годы в Омске. Отец постепенно укреплял свою власть. Художники приняли его сначала очень горячо (Миша, Миша... наш Миша).

Но потом появилось у него как бы отчуждение в среде ведущих художников, «китов», пишущих картины (в отличие от тех, которые рисовали в Круглом, зарабатывая просто на жизнь, как моя мать).



Послевоенная демонстрация

Эти художники из Круглого назывались «фондовскими», для них отец организовал фонд. Они выполняли технические работы, которые в наше время могли бы выполнять фотографы, например, рисовали сухой кистью (есть такая техника). Бралась кисть без масла, и на ткани ею рисовали с фотографий портреты членов тогдашнего Политбюро. Нарисовать нужно было как можно больше за день. Сначала портреты делали на больших листах бумаги, потом их по контуру прокалывали иголками, создавая дырочки. Обводили нос, очки, губы, подбородок, лоб, глаза, зрачки... всё-всё, для того чтобы сперва сделать так называемые припорохи.

Потом они накладывали этот припорох на ткань, которая была натянута на подрамнике, и края закрепляли гвоздиками. Втирали в эти поры уголь, он проходил на ткань. Припорох убирали, с ткани лишнее сдували, и получался готовый контур головы члена Политбюро в рубашке, в галстук и с орденами, какие у него были, всё это передал припорох. И им оставалось только, не нарушая контура, раскрасить его красками близкого колорита. Например, умбру натуральную соединяли чуть-чуть с умброй жжёной, и портрет получался приятного тёмно-коричневого цвета. В самых тёмных местах он был почти чёрный. Вот этим занимались художники, которые работали в Круглом, в том числе и мать.

А моя работа заключалась в том, чтобы принести им обед. Мать заранее дома готовила, а потом мне говорила: сходи за хлебом, и всё это принесёшь мне и отцу.

И я во время обеда нёс в это Круглое еду и смотрел, как они работают. Окна располагались по всему этому круглому зданию, так что там можно было работать в любом месте. За окнами гремели трамваи, у которых тут было кольцо, пересадка. Одна часть трамваев ехала на вокзал под прямым углом к улице Лермонтова, а другие трамваи приходили с вокзала, тут разворачивались, шли обратно или направлялись к парку культуры в конце города, где мы жили.

Отец часто ездил в Москву по делам Союза художников. Там отчитывался, ему давали новые установки, как руководить союзом. И там же ему сказали, что в 47-м году планируется республиканская выставка в Третьяковской галерее, первая послевоенная выставка по указу самого Сталина. И все художники с большим энтузиазмом начали работать над своими картинами, рисунками и скульптурами. Начал готовиться в Омске и отец.

Омск располагается в низкой местности, но за Омском берег постепенно повышается, и оказывается, что Иртыш течёт вниз. А за Иртышом дали тянулись бесконечные, которые

когда-то любил описывать Достоевский. Там в районе Чернолучья находился дом отдыха, в котором побывал отец и где он задумал нарисовать картину – девушка в светлом цветастом платье стоит на крутом берегу, опершись спиной на сосну, у других сосен ещё девушки находятся, в общем, это дом отдыха. Справа начинается уже тёмный бор, а слева девушка смотрит на просторы на низком берегу, на кустики и уходящие в бесконечную даль протоки небольших речных стариц.

Не знаю, как другие художники, но отец нарисовал вот эту картину. Она была вертикальная... песчаный, глинистый обрыв, и эта задумчивая девушка стоит и смотрит вдаль. Картину приняли на выставку в Москве, и, мало этого, её ещё и купили за семь с половиной тысяч. Это оказались первые деньги, заработанные отцом благодаря своему творчеству. Радости нашей не было пределов.

Муж нашей хозяйки Левихи работал механиком на пароходах. Меня он как-то любил и даже брал на экскурсию на пароход. Я там тогда гулял по палубе, ходил к нему в машинное отделение, смотрел, как двигаются все эти шестерёнки, как колесо крутится и черпает воду, благодаря чему идёт пароход. Два колеса находились с двух сторон, наверху стояла труба. Чтобы завести паровой двигатель с колёсами, там топили углём. Конечно, скорость была маленькая, но большой скорости и не требовалось, потому что пароход обычно тянул за собой плоты вниз по Иртышу в сторону Карского моря, где сама вода текла быстро. В районе Омска вода просто сбивала с ног. Если зайти по горлышко в воду и стоять на дне на носках, то вода даже подымала человека. А если умеешь плавать, то можно только лежать на спине, и вода сама тебя несёт...

Дочка хозяйская подросла и стала уже ходить на свидания. А свидания обычно происходили в центре города, где сливались Омка и Иртыш. Место это с деревьями, лавочками и цветочными клумбами называлось «стрелка», вечерами там назначались свидания и организовывались танцы. А свидания в послевоенном Омске не всегда бывали романтическими, в городе находилось много и заключённых, и людей с разными разбитыми судьбами. И, конечно, молодой девушке знакомиться было небезопасно, родители боялись за свою дочь.

Кроме того, за домашних животных тогда в Сибири брали очень большие налоги. И мне Левиха часто говорила: возьми, Гена, этот таз с яйцами, снеси в хлебный магазин и скажи, что это от нас налог. (То есть налог брали продуктами – у кого яйцами, у кого мясом.) В общем, они решили уехать на Украину. Перед этим они продали свою корову, а свинью решили зарезать, попросили помочь моего отца. И я помню, как в огромном сарае отец с ней расправлялся, я не видел, конечно, только мог представить. Потом эту свинью палили паяльной лампой, и вот этот запах горевшей щетины я хорошо помню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.